This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

DK
37.8
A3S6

SMIRNOV
AKSAKOVY, IKH ZHIZN'
...

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

2442 Смирнов, В.Д.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

АКСАКОВЫ

ИХЪ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БІОГРАФИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

В. Д. Смирнова

Съ тремя портретами, гравированными въ Парижѣ и Петербургѣ.

ЦѢНА 25 КОП.

БИБЛ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН. ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА

Больш. Подъяч., № 39

1895

F 6

D 137.8
A3.56

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 26 Мая 1895 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

I. Московскій кружокъ славянофиловъ 5

II. Центръ московскаго славянофильства — домъ Аксаковыхъ 19

III. Литературная дѣятельность С. Т. Аксакова 26

IV. Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ 34

V. Славянофильская доктрина 48

VI. Иванъ Аксаковъ.—Немезида славянофильства.—Славянофильство, какъ классовая теорія 66

VII. Заключеніе 78

ИСТОЧНИКИ.

Сочиненія С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ.

Критико-біографическій словарь С. Венгерова т. I.

Вл. Соловьевъ «Національный вопросъ въ Россіи» т II.

Мих. Бо....рнъ Происхожденіе славянофильства.

I. Московскій кружокъ славянофиловъ.

«Славянофильство или руссицизмъ, не какъ теорія, не какъ
еніе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное вос-
минаніе и массовый инстинктъ, какъ противодѣйствіе исключи-
льно иностранному вліянію существовало со времени обритія
овой бороды Петромъ Великимъ».

Противодѣйствіе петербургскому «объевропеиванію» Россіи
когда не перемежалось; казненное, четвертованное, повѣшенное
зубцахъ Кремля и тамъ прострѣленное Меньшиковымъ и дру-
и царскими «потѣшными» въ видѣ буйныхъ стрѣльцовъ; уби-
въ равелинѣ петербургской крѣпости въ лицѣ царевича Але-
я, оно—это противодѣйствіе—является какъ партія Долгору-
ъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ
нузданная брань геніальнаго Ломоносова, какъ сама Елисавета,
равшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы сѣсть на пре-
ъ: вѣдь народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронованіи
детъ приказъ избить нѣмцевъ. Всѣ раскольники—славянофилы
астроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за
нѣмецкую фамилію, были предшественниками Хомякова и его
ей.

Война 1812 года сильно развила чувство народнаго сознанія
обви къ родинѣ, но патріотизмъ 1812 года не имѣлъ старооб-
ески-славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинѣ и
кинѣ, въ самомъ императорѣ Александрѣ. Практически онъ
выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всѣ
чіе народы, когда ихъ задѣваютъ чужіе; потомъ это было
ественное чувство побѣды, гордое сознаніе даннаго отпора.
эорія его была слаба; для того, чтобы любить русскую исто-
патріоты перекладывали ее на европейскіе нравы; они вообще
одили съ французскаго на русскій римско-греческій патріо-
Корнеля и Расина и не шли далѣе стиха:

Pour un coeur bien né, que la patrie est chère!
Какъ дорого отечество для благородно рожденнаго сердца!

равда Шишковъ бредилъ уже и тогда о возстановленіи ста-
слога, но вліяніе его было ограниченно. Что же касается до
щаго народнаго слога, то его зналъ одинъ офранцуженный

графъ Растопчинъ, да и тотъ частенько перевиралъ его, преобр зовывая въ «балаганный стиль».

По мѣрѣ того какъ война забывалась, патріотизмъ этотъ ут халъ и выродился наконецъ, съ одной стороны, въ подлую ци ческую лесть «Сѣверной Пчелы», съ другой—въ пошлый Загоск скій патріотизмъ, называвшій Шую Манчестромъ, Шубуева Рафаэлемъ, хваставшій штыками и дистанціей огромнаго разм «отъ стѣнъ Кремля до стѣнъ Китая»...

Только при императорѣ Николаѣ славянофильство изъ наст нія обратилось въ доктрину, теорію. Въ этомъ многое было винно, и прежде всего режимъ Николаевскаго царствованія. У вительное время!

«Создалась,—говоритъ г. Любимовъ, большой сторонникъ Катк «Моск. Вѣд.», правительственная система, съ которой не могъ пр риться ни одинъ независимый умъ, прилаживаться къ которой св ная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побѣждая себ средоточивая вниманіе на свѣтлыхъ сторонахъ и закрывая глаз темныя, удовлетворяясь довольствомъ личнаго положенія, лице вольно или невольно, чтобы не прать противъ рожна.

«Государственная идея, высокая сама по себѣ и крѣпкая въ жавномъ источникѣ ея, въ практикѣ жизни приняла исключител форму «начальства». Начальство сдѣлалось все въ странѣ. Все реви,—Богови оставалось весьма немного. Все сводилось къ про отношеній начальника и подчиненнаго. Губернаторъ, при ка ссылкѣ на законъ, взявшій со стола томъ свода законовъ и сѣв него съ вопросомъ: «гдѣ законъ?», былъ лицомъ типически частности добрымъ и справедливымъ человѣкомъ».

«Въ то время,—продолжаетъ г. Любимовъ,—купецъ торговал тому что была на то милость начальства; обыватель ходилъ по цѣ, спалъ послѣ обѣда въ силу начальническаго позволенія; п ный пилъ водку, женился, плодилъ дѣтей, бралъ взятки по м начальническаго снисхожденія. Воздухомъ дышали, потому ч чальство, снисходя къ слабости нашей, отпускало въ атмосфер статочное количество кислорода. Рыба плавала въ водѣ, птицы лѣсу, потому что такъ разрѣшено было начальствомъ. Начальник безотвѣтственъ въ отношеніяхъ своихъ къ подчиненнымъ, но въ тѣхъ же условіяхъ, начальство и надъ собою. Для наро шаго тяготы и крѣпостныхъ, и государственныхъ повинно включеніемъ тяжкой рекрутчины, то было время не легкой Военные люди, какъ представители дисциплины и подчиненія, первенствующее значеніе, считались годными для всѣхъ родо бы. Гусарскій полковникъ засѣдалъ въ сунодѣ, въ качествѣ прокурора. Зато полковой священникъ, подчиненный оберъ нику, былъ служивый въ рясѣ, независимый отъ архіерея... независимая отъ службы дѣятельность человѣка считалась только терпимой при незамѣтности и немедленно возбуждал ніе, какъ только чѣмъ-либо явно обнаруживалась... Тѣлесныя

ія считались главнымъ орудіемъ дисциплины и основою общественнаго воспитанія. Отъ ученія требовали только практической пригодности, наука была въ подозрѣніи. Съ 1848 года преслѣдованіе независимости во всѣхъ ея формахъ приняло мрачный характеръ».

При такихъ обстоятельствахъ, при такой тягости жизни почва для утопіи, для всяческихъ мечтаній готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопію, свои мечтанія, что было имъ такъ-же необходимо, какъ глотокъ свѣжаго воздуха задыхающемуся человѣку. Обстоятельства заставили ихъ организоваться, сплотиться и подыскать философскія подпорки для своихъ вожделѣній.

Лѣтомъ 1836 г. въ одномъ изъ журналовъ того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева. «Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь; тонуло ли что и возвѣщало свою гибель, былъ ли это сигналъ, зовъ на помощь, вѣсть объ утрѣ или о томъ, что его не будетъ,—все равно надо было проснуться».

Что, кажется, значатъ два-три листа, помѣщенныхъ въ еженедѣльномъ обозрѣніи? а между тѣмъ такова сила рѣчи сказанной, такова мощь слова въ странѣ мечтаній и непривыкшей къ свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію. Оно имѣло полное право на это. «Послѣ «Горя отъ ума» не было ни одного литературнаго произведенія, которое сдѣлало бы такое сильное впечатлѣніе. Между ними—десятилѣтнее молчаніе. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдругъ тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала рѣчи для того, чтобы спокойно сказать: «lasciate ogni speranza».

«Со второй, третьей страницы письма,—говоритъ современникъ,—меня остановилъ печально серьезный тонъ: отъ каждаго слова вѣяло тягимъ страданіемъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ. Такъ пишутъ только люди, долго думавшіе, много думавшіе и много испытавшіе въ жизни... Читаю далѣе—письмо растетъ, оно становится вѣчнымъ обвинительнымъ актомъ, протестомъ личности, которая за всѣ вынесенное хочетъ высказать часть накопившагося на сердцѣ».

«Каждый чувствовалъ тяготу. У каждаго было *что-то* на сердцѣ, все-таки всѣ молчали, наконецъ пришелъ человѣкъ, который поэтому сказалъ—*что*. Онъ сказалъ только про боль, свѣтлаго ничего нѣтъ въ его словахъ, да нѣтъ ничего и во взглядѣ. Письмо Чаадаева—жалостный крикъ боли и упрека петровской Россіи, она имѣла право на него; развѣ эта среда жалѣла, щадила автора или кого-нибудь?

«Разумѣется, такой голосъ долженъ былъ вызвать противъ себя оппозицію, или онъ былъ-бы совершенно правъ, говоря, что «прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущаго для нея вовсе

нѣтъ, что «это пробѣлъ недоразумѣнія, грозный урокъ, данный нар-
дамъ—до чего отчужденіе и рабство могутъ довести». Это было
каяніе и движеніе. Оно и не прошло такъ. На минуту всѣ дах-
сонные и забитые воспрянули, испугавшись зловѣщаго голоса. Вс
были изумлены, большинство было оскорблено, человѣкъ десять грох
и горячо апплодировали автору».

Исторія Россіи—грозный урокъ, данный народамъ, «до че
отчужденіе и рабство могутъ довести»,—такова основная мысл
Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она однако несправедлива
рѣзкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаевъ говорилъ: «въ М
сквѣ каждаго иностранца водятъ смотрѣть большую пушку
большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрѣлять нельзя, и кол
колъ, который свалился прежде, чѣмъ зазвонилъ. Удивительн
городъ, гдѣ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью: и
можетъ быть этотъ большой колоколъ безъ языка — гіероглиф
выражающій эту огромную нѣмую страну, которую заселяет
племя, назвавшее себя *славянами*, какъ бы удивляясь, что ни
етъ слово человѣческое»...

Нельзя было оставить безъ отпора такое неуваженіе. Чаа
евъ и славянофилы равно стояли передъ неразгаданнымъ сфи
сомъ русской жизни; они равно спрашивали: «что же буде
Такъ жить невозможно; тягость и нелѣпость окружающаго е
видно невыносима—гдѣ же выходъ?»

«Его нѣтъ», отвѣчаетъ человѣкъ петровскаго періода, иск
чительно западной цивилизаціи, вѣрившій при Александрѣ I
европейскую будущность Россіи. Онъ печально указывалъ, къ ч
привели усилія цѣлаго вѣка: образованіе дало только новыя ср
ства угнетенія, народъ стонетъ подъ игомъ, горшемъ прежн
«Исторія другихъ народовъ—говоритъ онъ—повѣсть ихъ о
божденія. Русская исторія—развитіе крѣпостного состоянія». -
реворотъ Петра сдѣлалъ изъ насъ худшее, что могло сдѣлать
людей—просвѣщенныхъ рабовъ. Довольно мучились мы въ э
тяжеломъ, смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые н
домъ, отшатнувшіеся отъ него,—пора отдохнуть, пора свест
свою душу миръ, прислониться къ чему-нибудь». Это почти зна
«пора умереть», и Чаадаевъ «прислонился» къ католицизму.

Славянофилы рѣшили вопросъ иначе.

Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе живой души вн
родѣ, чутье ихъ было проницательнѣе ихъ разумѣнія. Они по
то современное состояніе Россіи не смертельная, а лишь вр
болѣзнь. И въ то время какъ у Чаадаева слабо мер

возможность спасенія лицъ, а не народа, у славянофиловъ явно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и вѣра въ спасеніе народа — его будущность.

«Выходъ за нами,—говорили славянофилы,—выходъ—въ отреченіи отъ петербургскаго періода, возвращеніе къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе: *воротимся* къ прежнимъ допетровскимъ нравамъ».

Вѣрное хорошее настроеніе воплотилось въ странную форму. Исторія не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бываютъ нужны старыя платья. Всѣ возстановленія, всѣ реставраціи были всегда маскарадами: ни легитимисты не возратились ко временамъ Людовика XIV, ни республиканцы — къ 8-ому Термидору. Случившееся стоитъ писанаго, его не вырубишь топоромъ... хотя бы самой гильотины.

Намъ сверхъ того и не къ чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской Россіи была уродлива, бѣдна, дика,—а къ ней то и хотѣли славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются въ этомъ: какъ же иначе объяснить всѣ археологическія воскрешенія, поклоненіе нравамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной одеждѣ крестьянъ, а къ старинным неуклюжимъ *боярскимъ* костюмамъ. И что это за ненависть къ фракамъ и брюкамъ нѣмецко-парижскаго покроя? Во всей Россіи кромѣ славянофиловъ никто не носилъ мурмолокъ. И. С. Аксаковъ одѣлся такъ «національно», что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ разсказываетъ шутя Чаадаевъ.

Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать тѣнь на всѣ славянофильскія теоріи. Эта тѣнь по необходимости густилась, когда узкій, назойливый, даже наглый, націонализмъ нашелъ себѣ убѣжище и радушный пріемъ въ славянофильскомъ лагерѣ.

«Такъ напримѣръ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ въ Москвѣ проѣздомъ панславистъ Гай. Москвитяне вѣрятъ вообще чѣмъ иностранцамъ; Гай былъ больше чѣмъ иностранецъ, онъ былъ «нашъ братъ» славянинъ. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить нашихъ славянъ судьбою страждущихъ и православныхъ братій въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдѣлана въ нѣсколько дней, и сверхъ того Гаю былъ данъ обѣдъ во имя всѣхъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За обѣдомъ одинъ изъ нѣжнѣйшихъ по голосу и по занятіямъ славянофиловъ, чело-

вѣкъ *краснаго* православія,—К. Аксаковъ, — разгоряченный вѣроятно тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было слѣдующее «не совсѣмъ» христіанское выраженіе:

Упьюся я кровью мадьяровъ и нѣмцевъ...

Всѣ неповрежденные съ отвращеніемъ услышали эту фразу. По счастію остроумный статистикъ Андросовъ выручилъ кровожаднаго пѣвца; онъ вскочилъ съ своего мѣста, схватилъ десертный ножикъ и сказалъ: «Господа, извините меня; я васъ оставлю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старикъ настройщикъ Дизъ,—нѣмецъ; я сбѣгаю его прирѣзать и сейчасъ же возвращусь». Громъ смѣха заглушилъ негодованіе».

Письмо Чаадаева заставило славянъ организоваться. Въ началѣ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкѣ: своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, съ своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои каѳедры въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, какъ бы символически выдившее всегда двумя мѣсяцами позже, чѣмъ слѣдовало, но и же выходившее. При главномъ штабѣ состояли православные геліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр., и пр. По всей линіи происходили ожесточенныя стычки съ западниками. Эти постоянныя, черезъ день повторяющіяся стычки очень интересовали литературные салоны въ Москвѣ. Надо замѣтить вообще, что Москва входила тогда въ эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся просами жизни. Появленіе замѣчательной книги, напр. «Мертвыхъ Душъ», составляло событіе. Критики и антикритики читались, комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ какимъ бывали Франціи или Англіи слѣдили за парламентскими преніями. Цѣнность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности сала образованную часть общества въ книжный міръ и въ одномъ дѣйствительно совершался глухо и полусловами протест против тяготы жизни. Въ лицѣ западниковъ и Грановскаго преимуществу московское общество привѣтствовало рвавшуюся

свободѣ мысль Запада,—мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности.

Все это, разумѣется, совершалось на вершинахъ общества, нисколько не затрогивая массы. Въ то время и славянофильство и западничество по необходимости были эзотерическими, «внутренними» ученіями, истинный смыслъ которыхъ былъ доступенъ лишь немногимъ посвященнымъ.

«Я въ Москвѣ зналъ, — говоритъ одинъ современникъ,— два круга, два полюса ея общественной жизни. Сначала я былъ потерянъ въ обществѣ стариковъ гвардейскихъ офицеровъ временъ Екатерины, товарищей моего отца, и другихъ стариковъ, нашедшихъ тихое убѣжище въ страннопріимномъ сенатѣ, товарищей его брата. Потомъ я зналъ другую, *молодую* Москву—литературно-свѣтскую. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своихъ похоронъ по рангу, и ихъ сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не зналъ и не хотѣлъ знать. Промежуточная среда эта – настоящая николаевская Русь—была безцвѣтна и пошла, безъ екатерининской оригинальности, безъ отваги и удали людей 1812 года, безъ нашихъ стремленій и интересовъ... Говоря о московскихъ гостиныхъ и столовыхъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, давали тонъ декабристы, смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Орловъ и А. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ наконецъ А. Хомяковъ спорилъ до 9-ти часовъ утра, начавши въ 7 вечера, гдѣ К. Аксаковъ съ мурмолкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, гдѣ Р. выводилъ логически личнаго Бога ad majorem gloriam Hegelii, гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными, гдѣ молодой старикъ А. И. Тургеневъ вело сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы отъ Шатобріана до Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ, гдѣ Боткинъ и Крюковъ патетически наслаждались разсказами М. С. Щепкина и куда наконецъ падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало...»

Въ этихъ кружкахъ за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипѣло. Москва принимала дѣятельное участіе въ спорахъ за мурмолки и противъ нихъ, баталии и барышни читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, болѣли только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ. Споры возобновлялись на всѣхъ литературныхъ и нелитературныхъ вечерахъ, на которыхъ встрѣча-

лись западники и славянофилы, а это бывало раза два или тр
въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собирались у Чаадаева, въ пятни-
цу—у Сверѣева, въ воскресенье—у Елагиной. Сверхъ участни-
ковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти ве-
чера пріѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ ча-
совъ ночи, чтобы посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого отдѣлает
и какъ отдѣлаютъ его самого: пріѣзжали въ томъ родѣ, какъ встар
ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ за Рогожской заставо

Ильей Муромцемъ, разившимъ всѣхъ со стороны православ
и славянизма, былъ А. С. Хомяковъ, «Горгіасъ, совопросник
міра сего», по выраженію Морошкина. Умъ сильный, подвижно
богатый средствами и неразборчивый въ нихъ, богатый памяты
и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспори
всю свою жизнь. Боецъ безъ устали и отдыха, онъ билъ и колол
нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ остротами и цитатами, пуга
и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти было нельз

Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отверга
возможность разумомъ дойти до истины (одинъ изъ кра
угольныхъ догматовъ славянофильства); онъ приписывалъ разу
одну формальную способность, способность развивать зародыш
или *зерна*, *даваемыя откровеніемъ*, *получаемыя вѣрой*. Е
же разумъ оставленъ на самого себя, то, бродя въ пустотѣ
строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои з
коны, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до пон
тія о безсмертіи. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, ос
новившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились в
формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Х
мяковъ шелъ за ними шагъ за шагомъ и подъ конецъ дулъ
карточный домъ логическихъ формулъ или подставлялъ ногу с
имъ противникамъ и заставлялъ ихъ падать въ матеріализ
отъ котораго они стыдливо отрекались, или въ «атеизмъ», ко
раго они просто боялись. Хомяковъ торжествовалъ! Но, разумѣет
онъ не могъ не пасовать передъ людьми, которые безбоязне
принимали *всѣ* выводы науки, куда бы она ни вела ихъ.

Тутъ же были и другіе столпы славянофильства, бра
Кирѣевскіе—Иванъ и Петръ. Оба они стоятъ печальными тѣн
на рубежѣ народнаго воскресенія; непризнанные живыми, не
лившіе ихъ интересовъ, они не скидавали савана, не разстава
съ своей глубокой грустью.

«Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Васильевича

ло рѣзкіе слѣды страданій и борьбы. Жизнь ему не улыбалась. ь жаромъ принялся онъ въ своей юности за ежемѣсячное обо- ѣніе «Европеецъ». Двѣ вышедшія книжки были превосходны, и выходѣ второй «*Европеецъ*» былъ запрещенъ. Онъ помѣстилъ « *Денницѣ*» статью о Новиковѣ. «Денница» была схвачена, и цен- ръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Кирѣевскій, разстроившій ое состояніе «Европейцемъ», уныло почилъ въ пустынѣ мо- овской жизни; ничего не представлялось вокругъ—онъ не вы- рпѣлъ и уѣхалъ въ деревню, затая въ груди глубокую скорбь тоску по дѣятельности. И этого человѣка, твердаго и чистаго, ікъ сталь, разъѣла ржа. Черезъ 10 лѣтъ онъ возвратился въ оскву изъ своего отшельничества мистически настроенный.

Положеніе его въ Москвѣ было тяжелое. Совершенной близо- и, сочувствія у него не было ни съ западниками, ни съ слава- филами. Между нимъ и западниками была стѣна вѣры и цер- вныхъ, православныхъ догматовъ. Въ то же время поклонникъ ободы и принциповъ французской революціи, онъ не могъ раздѣ- ть пренебреженія ко всему европейскому новыхъ старообряд- въ-славянъ. Онъ однажды съ глубокой печалью сказалъ Гра- вскому: «Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю мно- го изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько расхожусь въ другомъ». Съ Иваномъ Кирѣевскимъ было больно орить, какъ больно спорить съ разрушающимся человѣкомъ.

* * *

Характеристика славянофильскаго кружка вышла бы однако полной, еслибы мы забыли упомянуть о самомъ фанатическомъ оповѣдникѣ правовѣрія и народничества, К. Аксаковѣ. Мы еще сто будемъ встрѣчаться съ нимъ, пока—всего нѣсколько строкъ.

«Константинъ Аксаковъ не смѣялся, какъ Хомяковъ, въ діа- ктическомъ упоеніи мысли и не сосредоточивался въ безвыход- мъ сѣтованіи, какъ Кирѣевскіе. Мужающій юноша, и притомъ чный юноша,—онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ мы ви- мъ не неувѣренное пытаніе почвы, не печальное сознаніе про- вѣдника въ пустынѣ, не дальнія надежды, а фанатическую вѣру, терпимую, одностороннюю,—ту, которая могла бы сдвинуть съ ста горы. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякій воинъ. ъ былъ окруженъ враждебной средой, средой сильной и имѣв- й надъ нимъ большія выгоды, ему надо было пробиваться че- ъ ряды всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя. кая ужъ тутъ терпимость!

«Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ тровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя неприз ной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступ діалектикѣ Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель, какъ И. рѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пош бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они станов страшно убѣдительными. Онъ въ началѣ 40-хъ годовъ *прок дывалъ сельскую общину, міръ и артель*. Онъ научилъ Г гаузена понимать ихъ и, послѣдовательный до дѣтства, пер опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ рубашку съ кривым ротомъ. «Москва—столица русскаго народа, говорилъ онъ, а тербургъ—только резиденція».

Аксаковъ остался до конца жизни вѣчно восторженны безпредѣльно благороднымъ юношей: онъ увлекался, былъ каемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда с славянофиловъ съ западниками дошли до того, что они у хотѣли болѣе встрѣчаться, Г какъ-то шелъ по улицѣ, К. ковъ ѣхалъ въ саняхъ. Г. дружески поклонился ему. Онъ проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней дошелъ къ Г. «Мнѣ было слишкомъ больно,—сказалъ онъ,— ѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что всего, что было между вашими друзьями и моими, я не бу вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ п вашу руку и проститься». Онъ быстро пошелъ къ своимъ са но вдругъ воротился. Г. стоялъ на томъ-же мѣстѣ; ему грустно. Аксаковъ бросился къ нему, крѣпко обнялъ его и к поцѣловалъ. У него на глазахъ были слезы. Этому-то мл сердцемъ, но убѣжденному и непреклонному фанатику и пр играть главную роль въ проповѣди славянофильства. Можн напередъ представить, сколько горячности было внесено проповѣдь и къ какимъ жизненнымъ практическимъ резуль могла она привести!

* * *

Быстро и далеко зашла ссора изъ-за теоретическихъ гласій между западниками и славянофилами, и полемика за л турными чаями мало-по-малу перешла въ журнальную.

Грановскій, Г. и другіе кое-какъ еще ладили съ слав лами. Не уступая началъ, они не дѣлали изъ разномыслія л вопроса. Бѣлинскій, страстный въ своей нетерпимости, шелъ и горько упрекалъ своихъ друзей-западниковъ за поклади

Я жидъ по натурѣ,—писалъ онъ одному изъ нихъ изъ Петер-
ургa, — и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу.
рановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ «Москвитя-
инѣ» (органѣ славянъ)? Нѣтъ, и не буду читать. Скажи ему, что
не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ,
и назначать имъ тамъ свиданія».

Зато честили его и славянофилы. «Москвитянинъ», раздражен-
ый Бѣлинскимъ, раздраженный успѣхомъ «Отечественныхъ За-
исокъ» и успѣхомъ знаменитыхъ лекцій Грановскаго, защищался,
змъ попало, и всего менѣе жалѣлъ Бѣлинскаго; онъ прямо гово-
илъ о немъ, какъ о человѣкѣ опасномъ, жаждущемъ разрушенія,
дующемся при зрѣлищѣ «пожара», и т. д.

«Москвитянинъ» былъ главнымъ образомъ выразителемъ про-
ссорскаго славянофильства двухъ своихъ редакторовъ, Погодина
Шевырева—этихъ сіамскихъ близнецовъ, какъ ихъ тогда назы-
ли. «Москвитянинъ» мало-по-малу сталъ задѣвать уже не
лько Бѣлинскаго за его журнальныя статьи, но и Грановскаго —
его лекціи. И дѣлалось это къ сожалѣнію съ тѣмъ-же не-
стнымъ отсутствіемъ такта, который возстановлялъ противъ
вянскаго органа всѣхъ порядочныхъ людей. Шевыревъ и По-
инъ обвиняли Грановскаго въ пристрастіи къ западному раз-
гію, къ извѣстному порядку опасныхъ идей. Грановскій поднялъ
ь перчатку и смѣлымъ, благороднымъ возраженіемъ заставилъ
ь покраснѣть. Онъ публично съ каѳедры спросилъ своихъ обви-
телей, почему онъ долженъ ненавидѣть Западъ, и зачѣмъ, не-
видя его развитіе, сталъ бы онъ читать его исторію.

«Меня обвиняютъ,—сказалъ Грановскій,—въ томъ, что исто-
служитъ мнѣ только для высказыванія моего воззрѣнія. Это
асти справедливо, я имѣю убѣжденія и провожу ихъ въ моихъ
ніяхъ; еслибы я не имѣлъ ихъ, я не вышелъ бы публично пе-
ь вами для того, чтобы разсказывать въ большей или меньшей
ени занимательно рядъ событій».

Отвѣты Грановскаго были такъ просты и мужественны, его
ціи такъ увлекательны, что славянскіе доктринеры притихли,
олодежь имъ рукоплескала. Послѣ курса былъ даже сдѣланъ
тъ примиренія. Западники давали Грановскому обѣдъ послѣ
заключительной лекціи. Славянофилы захотѣли участвовать. Пиръ
ь удаченъ; въ концѣ его послѣ многихъ тостовъ противъ
и обнялись и поцѣловались. Но виноваты въ этомъ были лишь
атые тосты.

Оказалось прежде всего невозможнымъ умиротворить Бѣлинскаго. Онъ слалъ своимъ друзьямъ грозныя письма изъ Петербурга, отлучалъ ихъ, предавалъ анаѳемѣ и писалъ все злѣе и злѣ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Наконецъ онъ торжественно указалъ пальцемъ противъ «проказы» славянофильства и съ упрекомъ повторилъ: «вотъ вамъ она!»—онъ былъ правъ. Дѣло заключалось въ томъ, что нѣкогда любимый поэтъ, сдѣлавшійся святошей отъ болѣзни и славянофиломъ по родству, хотѣлъ стегнуть славянофиловъ умирающей рукою; но несчастію онъ избралъ для этого опять-таки полицейскую нагайку. Въ пьесѣ подъ заглавіемъ «Не нашъ» онъ называлъ Чаадаева отступникомъ отъ православія, Грановскаго — лжеучителемъ, растлѣвающимъ юношество, Г. — слугою, носящимъ блестящую ливрею западной науки, и всѣхъ трехъ — измѣнниками отечеству.

Обстоятельство это, разумѣется, прибавило много горечи въ отношенія обѣихъ враждующихъ партій. Нашлись люди, которые съ восторгомъ носились съ доносомъ въ стихахъ и читали его, гдѣ только было возможно. Имя поэта, имя чтеца, кругъ, въ которомъ онъ жилъ, кругъ, который имъ восхищался,—все это раздражало умы. Славяне и западники стали другъ противъ друга съ обнаженными мечами, враждующіе, непримиримые, и это уже навсегда — вплоть до нашихъ дней.

Видимую побѣду на первыхъ порахъ одержали западники.

«На этотъ разъ, — говоритъ современникъ,—побѣдителями были не славяне. Общественное мнѣніе громко рѣшило въ нашу (западническую) пользу. Въ глухую ночь, когда «*Москвитянинъ*» тонулъ, «*Маякъ*» (другой славянофильскій органъ) не свѣтилъ ему больше. Петербурга, Бѣлинскій, вскормивши своей кровью «*Отечество*», Зотова поставилъ на ноги ихъ побочнаго сына («Современникъ» Н. Некрасова) и далъ имъ обоимъ такой толчекъ, что они могли нѣсколько лѣтъ продолжать свой путь съ одними корректорами и батырщиками литературными мытарями и книжными грѣшниками. Бѣлинскаго и его было достаточно, чтобы обогатить два журнальныхъ прилавка и сосредоточить все лучшее въ русской литературѣ въ тѣхъ редакціяхъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе - въ то время, какъ таланты Кирѣевскаго и Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «*Москвитянину*».

Побѣда западниковъ была однако, какъ мы скоро увидимъ, скорѣе мнимая, чѣмъ дѣйствительная. Славянофильство было только дискредитировано, но не уничтожено, и дискредитировано столько же статьями Бѣлинскаго, сколько собственной своей нетактностью. Основная его черта — полное отсутствіе политиче

ысла, полная неопредѣленность гражданскихъ вожделѣній про-
лась въ немъ на первыхъ же порахъ.

Мыслящая часть общества стала на сторону западниковъ. Эти
лѣдніе все же звали впередъ, а не назадъ; эти послѣдніе все же
ли, что имъ дѣлать, и, несмотря на тягость окружающаго, знали,
о хотѣть, чего искать. Въ славянофилахъ же былъ силенъ эле-
тъ отчаянія, заставлявшій ихъ хвататься за соломинку и пи-
ься иллюзіями, чтобы спасти себя отъ полнаго маразма и унынія.
смотрите, какъ разсуждали ихъ главари.

Хомяковъ твердилъ постоянно, что такъ какъ разумъ не мо-
ъ дать никакого отвѣта на вопросы о Богѣ, безсмертіи души
д., *то* нужна вѣра. Въ сущности говоря, между недостаточ-
тью разума и необходимостью вѣры никакой логической связи
ъ. Вѣра спасительна лишь въ томъ случаѣ, если она *есть*,
акая аргументація въ защиту ея необходимости не заставитъ
і проникнуться ею. Хомяковъ побѣждалъ своихъ противниковъ
ъ потому, что тѣ были робкіе люди, готовые постоянно пря-
голову въ песокъ. Но однажды маленькій разговоръ съ по-
тельной ясностью открылъ всю несостоятельность его про-
ди.

«Присутствуя нѣсколько разъ при его спорахъ,—разсказываетъ
ъ современникъ,—я замѣтилъ, что Хомяковъ пугаетъ своихъ роб-
ъ противниковъ, и въ первый разъ, когда мнѣ самому пришлось
ориться съ нимъ, самъ завлекъ его къ «страшнымъ» выводамъ. Хо-
въ щурилъ свой косой глазъ, потряхивалъ черными, какъ смоль,
ями и (увѣренный въ побѣдѣ) улыбался.

— Знаете ли что,—сказалъ онъ вдругъ, какъ бы удивляясь новой
и,—не только однимъ разумомъ нельзя дойти до разумнаго духа,
ивающагося въ природѣ, но не дойдешь до того, чтобы понять
оду иначе, какъ простое безпрерывное броженіе, не имѣющее
, и которое можетъ и продолжаться, и остановиться. А если это
, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не
бнетъ съ родомъ человѣческимъ, съ планетой.

— Я вамъ и не говорилъ,—отвѣтилъ я ему,—что я берусь это до-
зать,—я очень хорошо зналъ, что это невозможно.

— Какъ?—сказалъ Хомяковъ, нѣсколько удивленный,—вы можете
имать эти страшные результаты свирѣпѣйшей имманенціи и въ
й душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я
или нѣтъ

— Ну, вы *по крайней мѣрѣ* *) *послѣдовательны*; однако, какъ
ѣку надо *свихнуть себѣ душу*, чтобы примириться съ этими
ьными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ!

*) Хорошо это: «по крайней мѣрѣ»!

— Докажите мнѣ, что *не наука* ваша истина, и я приму *ея* вмѣ
также откровенно и безбоязненно.
— Для этого надобно вѣру.
— Но, Алексѣй Степановичъ, вы знаете: «на нѣтъ и суда нѣтъ».

Хомяковъ утверждалъ недостаточность разума. Но что друг
какъ не тотъ же недостаточный разумъ показалъ ему необходи
мость вѣры? Получилось безысходное противорѣчіе. Но надо бы
схватиться за соломинку, чтобы не принимать результатов
«свирѣпѣйшей имманенціи», надо было за отсутствіемъ истинно
вѣры изобрѣсть ея суррогатъ — недостаточность разума.

Такимъ же суррогатомъ питался и И. Кирѣевскій. По поводу
общеизвѣстнаго его разсказа объ иконѣ, Влад. Соловьевъ дѣ
лаетъ немало остроумныхъ замѣчаній, говоря между прочимъ:

«По Кирѣевскому выходитъ, что предметъ народной вѣры всецѣ
создается самой этой вѣрой: икона перестаетъ быть простой доской с
изображеніемъ и становится священнымъ и даже чудотворнымъ предме
томъ лишь посредствомъ многовѣкового накопленія молитвъ и возношеній
она, такъ сказать, намагничивается обращенной на нее душевной с
лой вѣрующаго народа. Но съ чего же этотъ народъ сталъ вдругъ в
нее вѣрить? По обыкновеннымъ религіознымъ понятіямъ истинная вѣра
обусловлена извѣстными священными предметами, которые имѣют
дѣйствительное значеніе сами по себѣ; икона не потому свята, что
ей молятся, а, наоборотъ, ей молятся, потому что она свята. Если
же допустить съ Кирѣевскимъ, что святость и чудесная сила сообщаются
иконѣ только накопленіемъ людскихъ молитвъ и слезъ,—то, спраши
вается, къ чему же первоначально обращались эти молитвы, перед
чѣмъ проливались эти слезы? Дѣтская вѣра простого народа обратила к
православію родоначальника славянофильства; но сама эта народная
вѣра, по его же взгляду, могла быть первоначально лишь каким-то
случайнымъ самообольщеніемъ или безсмысленнымъ фетишизмом
Такъ, даже при самыхъ лучшихъ чувствахъ, не удается искусствен
ное, преднамѣренное, субъективными мотивами вызываемое, сближеніе
съ народомъ. Даже искренно вѣрующій славянофилъ все-таки остается
внутренно чуждъ и непричастенъ народной вѣрѣ. Онъ вѣритъ въ на
родъ и въ его вѣру, но вѣдь народъ вѣритъ не въ самого себя и не
въ свою вѣру, а въ независимые отъ него и отъ его вѣры религіозные
предметы».

Сколько искусственнаго, дѣланнаго въ такой вѣрѣ и сколько
душевнаго отчаянія въ этихъ попыткахъ. На совершенно справед
ливую мысль, что Россія велика и могуча, что у ней есть буду
щее, несмотря *ни на что*, славянофилы нагромоздили настроен
ное зданіе — храмъ безъ Бога и украсили его иконами, къ вѣрѣ
въ которыя возбуждали сами себя! Совершенно вѣрно замѣчено
про нихъ:

«Въ первую минуту, когда Хомяковъ почувствовалъ пустот

евную, онъ поѣхалъ гулять по Европѣ во время соннаго и
нного царствованія Карла X-го, докончивъ въ Парижѣ свою
ятую трагедію «Ермакъ» и потолковавши со всякими далма-
и и чехами на обратномъ пути,— онъ воротился. Все скучно!
счастью открылась турецкая война, онъ пошелъ въ полкъ
нужды, безъ цѣли и отправился въ Турцію. Война кончи-
и кончилась другая забытая трагедія «Дмитрій Самозванецъ».
ть скука!»

«*Въ этой скукѣ, въ этой тоскѣ, при этой странной страшной обстановкѣ*, мелькнула какая-то новая мысль;
высказанная, она была осмѣяна; *тѣмъ яростнѣе* бросился
отстаиваніе ея Хомяковъ, тѣмъ глубже она вошла въ плоть
ровь Кирѣевскаго. Сѣмя было брошено. На посѣвъ и защиту
довъ пошла сила первыхъ славянофиловъ. Надо было людей
го поколѣнія, не свихнутыхъ, не подломленныхъ, которыми
ь ихъ была бы принята не страданіемъ, не болѣзнью, какъ
ея дошли учители, а передачей, наслѣдіемъ. Молодые люди
откнулись на ихъ призывъ, люди Станкевичева кружка примы-
къ нимъ, и въ ихъ числѣ такія сильныя личности, какъ К.
ковъ и Юрій Самаринъ».

Центръ московскаго славянофильства—домъ Аксаковыхъ.

Думаю, что, нисколько не преувеличивая дѣла, можно считать
Аксаковыхъ центромъ московскаго славянофильства. Здѣсь
амомъ дѣлѣ они любили собираться своимъ кружкомъ или
помъ», какъ они выражались: здѣсь ораторствовалъ Хомя-
, здѣсь выросъ «пророкъ» славянства — Константинъ Аксa-
, здѣсь же напитался славянскимъ духомъ его знаменитый
ь—Иванъ Сергѣевичъ. Обстановка этого дома, его обиходъ,
ія и крупныя подробности его жизни - все это отпечатлѣлось
лавянофильской доктринѣ въ ея окончательномъ видѣ, все
носитъ на себѣ основной и рѣзко-замѣтный характеръ бар-
— того барства, которымъ когда-то такъ славилась Москва.
гаю, что барскаго характера разбираемой доктрины никто
дать не станетъ, хотя почему-то никто до сей поры не под-
ивалъ его. А между тѣмъ, какъ увидитъ читатель,—здѣсь-то
ается ключъ къ объясненію многихъ и многихъ особенностей
инофильства. Не хотѣли отмѣтить до сей поры, что и это

ученіе, какъ почти всѣ ученія, волновавшія до сей поры міръ и людей,—есть *классовое* порожденіе.

Характеристику «дома» начну съ отца—С. Т. Аксакова.

«Сергѣй Тимофеевичъ, — пишетъ Панаевъ,—былъ большой хлѣбосолъ и гордился этою московскою добродѣтелью. Аксаковы тогда (въ 40-хъ годахъ) жили въ большомъ отдѣльномъ деревянномъ домѣ на Смоленскомъ рынкѣ. Для многочисленнаго семейства Аксакова требовалась многочисленная прислуга. Домъ его былъ биткомъ набитъ дворнею. Это была уже не городская жизнь въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, а патріархальная, жизнь

С. Т. Аксаковъ.

рокая, помѣщичья жизнь, перенесенная въ городъ. Домъ Аксаковых снаружи, и внутри, по устройству и распоряженію совершенно подражалъ па деревенскіе барскіе дома; при немъ были: «обширный двор людскія, садъ и даже бани въ саду». «Домъ Аксаковыхъ,—говоритъ въ другомъ мѣстѣ Панаевъ, — съ утра до вечера былъ полонъ гостями. Въ столовой ежедневно накрывался длинный и широкій столъ по крайней мѣрѣ на 20 кувертовъ. Хозяева были так просты въ обращеніи со всѣми посѣщавшими ихъ, такъ безцеремонны и радушны, что къ нимъ нельзя было не привязаться. Я по крайней мѣрѣ полюбилъ ихъ всей душею».

Во главѣ семьи и дома стоялъ Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ, наменитый впослѣдствіи авторъ «Семейной Хроники».

«Онъ былъ высокъ ростомъ, крѣпкаго сложенія и не обнаруживалъ еще ни малѣйшихъ признаковъ старости. Выраженіе лица ;о было необыкновенно симпатично, онъ говорилъ всегда звучно сильно, но голосъ его превращался въ голосъ стентора, когда нъ декламировалъ стихи, а декламировать онъ былъ величайшій ютникъ». Характеръ добродушной патріархальности, лежавшій ı всемъ складѣ домашней обстановки Сергѣя Тимофеевича, стался неизмѣннымъ вплоть до самой смерти его. Панаевъ знаалъ домъ Аксаковыхъ въ самомъ концѣ тридцатыхъ годовъ и ачалѣ сороковыхъ. Но такимъ же его рисуютъ люди, которые олкнулись съ Сергѣемъ Тимофеевичемъ въ серединѣ пятидесяихъ годовъ. «Домъ Аксакова,—пишетъ Лонгиновъ,—былъ днимъ изъ пріятнѣйшихъ въ Москвѣ. Нравственное вліяніе Сер-ѣя Тимофеевича было ощутительно не въ одномъ семействѣ. римѣрный супругъ, отецъ, братъ, онъ былъ и образцомъ друзей, ь которому шли за совѣтомъ и помощью его многочисленные рузья. Онъ умѣлъ съ перваго раза пріобрѣтать любовь и довѣріе якаго и никому не отказывалъ въ своемъ содѣйствіи или учаіи, а, напротивъ, самъ вызывался на услуги. Это была душа чиая, исполненная христіанскихъ чувствъ, и въ то-же время умъ ѣтлый, прямой, соединенный съ характеромъ откровеннымъ, звышеннымъ и энергическимъ. Онъ сохранилъ до глубокой стасти, среди тяжкихъ недуговъ, участіе ко всему прекрасному и лу воли вмѣстѣ съ какою-то младенческою ясностью души».

Эта-то «младенческая ясность души», переданная Сергѣемъ имофеевичемъ по наслѣдству обоимъ своимъ знаменитымъ сыноямъ, и составляла, кажется, отличительное свойство характера авы дома Аксаковыхъ. Лонгиновъ говоритъ еще объ «энергіи» « возвышенности», но, думается, совершенно напрасно. По крайй мѣрѣ во всемъ, что вышло изъ-подъ пера Сергѣя Тимофеечa, ни энергіи, ни возвышенности не видно, а видна, кромѣ роминаго чисто стихійнаго литературнаго таланта (кстати сказать и до сей поры неоцѣненнаго), именно эта младенческая ность души, это незлобіе духа,—цѣликомъ обломовскаго, и рскаго, словомъ,—духа легкой привольной жизни.

Сергѣй Тимофеевичъ—фигура замѣтная. Не напиши онъ ни ной строчки, все-же нельзя было-бы миновать его характериики, такъ какъ онъ славенъ своими сыновьями: а ихъ именъ

не вычеркнетъ историкъ умственнаго развитія Россіи, ка
ни относился онъ къ славянофильству. Я посвящу ему нѣс
страницъ, подчеркивая въ разсказѣ лишь тѣ черты, котор
рактерны для настроенія «славянъ».

Онъ родился въ Уфѣ 20-го сентября 1791 года. Кто ч
«Семейную Хронику», тотъ помнитъ, до какихъ чрезвычайн
рѣзкихъ проявленій доходила болѣзненная впечатлительност
ленькаго Багрова. Это черта автобіографическая, какъ
остальное въ «Семейной хроникѣ» и «Дѣтскихъ годахъ Ба
внука», гдѣ надо только подставить вмѣсто Багровыхъ А
выхъ, чтобы получить правдивую лѣтопись событій первыхъ
жизни Сергѣя Тимофеевича. Обаятельная фигура интеллиге
красивой, энергичной и вмѣстѣ съ тѣмъ безумно нѣжной м
маленькаго Багрова хотя и отзывается идеализаціей, но е
слишкомъ противорѣчитъ дѣйствительности. Въ «Семейной
никѣ» есть страница классическая въ смыслѣ изобра
героизма материнскаго и вообще семейнаго чувства, и ро
роини играетъ здѣсь мать Сергѣя Тимофеевича. Узнавши,
сынъ ея, отданный въ Казанскую гимназію, неожиданно захво
—Аксакова бросила все и, несмотря на распутицу, пустилас
путь.

«Въ десять дней,—сказано въ «Семейной Хроникѣ»,—дота
моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здѣсь
уже большая почтовая дорога, крѣпче уѣзженная, а потому ѣх
ней представлялось болѣе возможности, но зато изъ Мурзихи на
было переѣхать черезъ Каму, чтобы попасть въ село Шуранъ,
дящееся въ 80 верстахъ отъ Казани. Кама еще не прошла, но
лась и посинѣла; наканунѣ перенесли черезъ нее на рукахъ поч
въ ночь пошелъ дождь, и никто не соглашался переправить мою
и ея спутниковъ на другую сторону. Мать моя принуждена бы
чевать въ Мурзихѣ; боясь каждой минуты промедленія, она сам
дила изъ дома въ домъ по деревнѣ и умоляла добрыхъ людей по
ей, разсказывала свое горе и предлагала въ вознагражденіе все
имѣла. Нашлись добрые и сильные люди, понимавшіе матери
сердце, которые обѣщали ей, что если дождь въ ночь уймется
утру хоть крошечку подмерзнетъ, то они берутся благополучно
вить ее на ту сторону и возьмутъ то, что она пожалуетъ и
труды. До самой зари молилась мать моя, стоя на колѣняхъ пе
образомъ той избы, гдѣ провела ночь. Теплая материнская мо
была услышана: вѣтеръ разогналъ облака и къ утру морозъ выс
дорогу и тонкимъ ледочкомъ затянулъ лужи На зарѣ шестеро м
цовъ, рыбаковъ по промыслу, выросшихъ на Камѣ и привыкших
ходиться съ нею во всякихъ ея видахъ, каждый съ шестомъ или
ромъ, привязавъ за спину нетяжелую поклажу, перекрестясь на
ковный крестъ, взяли подъ руки обѣихъ женщинъ, обутыхъ въ м

оги, дали шестъ Ѳедору, поручивъ ему тащить *чуманъ*, т. е. широлубокъ, загнутый спереди кверху и привязанный на веревкѣ, тый на тотъ случай, что неровно барыня устанетъ,—и отправились путь, пустивъ впередъ самаго расторопнаго изъ своихъ товарищей ощупыванія дороги. Дорога лежала вкось, и надобно было пройти ло трехъ верстъ. Переходъ черезъ огромную рѣку въ такое время ъ страшенъ, что только привычный человѣкъ можетъ совершить , не теряя бодрости и присутствія духа. Ѳедоръ и Параша просто ѣли, прощались съ бѣлымъ свѣтомъ и со всѣми родными, и въ ихъ мѣстахъ надобно было силою заставлять ихъ идти впередъ, но ь моя съ каждымъ шагомъ становилась бодрѣе и даже веселѣе. овожатые поглядывали на нее и привѣтливо потряхивали гололи. Надобно было обходить полыни, перебираться, по сложеннымъ стѣ шестамъ, черезъ трещины; мать моя ни за что не хотѣла сѣсть чуманъ, и только тогда, когда дорога, подошедъ къ противоположстороне, пошла возлѣ самаго берега по мелкому мѣсту, когда вся сность миновала, она почувствовала слабость; сейчасъ постлали на анъ мѣховое одѣяло, положили подушки, мать легла на него, какъ постель, и почти лишилась чувствъ: въ такомъ положеніи дотащили до ямскаго двора въ Шуранѣ. Мать моя дала сто рублей своимъ овожатымъ, но честные люди не захотѣли ими воспользоваться; они ли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнаціями). Съ мленіемъ слушая изъявленія горячей благодарности и благословенія ей матери, они сказали ей на прощанье: «дай вамъ Богъ благополно доѣхать», и немедленно отправились домой, потому что мѣшкать ло некогда: рѣка прошла на другой день».

Безумно-нѣжно любимый, подъ крылышкомъ у матери, готоий воспринять смертную казнь, чтобы только сыну ея было хошо,—росъ Сергѣй Тимофеевичъ въ дворянскомъ гнѣздѣ. Жизнь ла привольная, хотя и не роскошная, и это приволье чувствоолось во всемъ: и въ природѣ—тогда, въ началѣ нашего вѣка, ограбленной еще человѣкомъ, и въ воспитаніи, не подчиненномъ какой ферулѣ, и въ окружающей помѣщичьей средѣ, провинальной, тихой въ собственномъ кругу добродушной. Крѣстной трудъ былъ тѣмъ пуховикомъ, на которомъ нѣжились и змякали холеные члены старыхъ и молодыхъ Обломовыхъ— ца Сергѣя Тимофеевича, добраго, мягкаго человѣка, неспособго ни на дурное, ни на хорошее, его самого, будущаго знаметаго писателя, а большую часть жизни просто русскаго барина, о котораго трудно даже сказать что-нибудь опредѣленное. Нѣолько противорѣчитъ этой картинѣ фигура Багрова-дѣда, ергическая, отчетливо выраженная, но и она въ сущности мало рушала тишь и благодать Аксаковщины.

10-ти лѣтъ отъ роду Сергѣя Тимофеевича отдали въ Казаную гимназію, а 4 года спустя онъ совершенно неожиданно по-

палъ въ студенты. Что это былъ за студентъ 14-ти-лѣтній мальчикъ, плохо даже грамотный,— представить не трудно, но так какъ въ Петербургѣ распорядились открыть Казанскій университетъ, то очевидно нужны были и студенты. И вотъ, часть гимназіи была отдана подъ университетъ, часть преподавателей назначена профессорами, а лучшіе изъ учениковъ старшихъ классовъ «произведены» въ студенты. Благодаря протекціи, въ числъ послѣднихъ попалъ и С. Аксаковъ, хотя самъ онъ сознается, что по познаніямъ своимъ далеко не заслуживалъ такого «произведенства» и, «слушая университетскія лекціи, онъ въ то же время весьма благоразумно продолжалъ по нѣкоторымъ предметамъ учиться въ гимназіи».

«Мало вынесъ я—разсказываетъ самъ Аксаковъ—научныхъ свѣдѣній изъ университета не потому, что онъ былъ еще очень молодъ, не полонъ и не устроенъ, а потому, что я былъ слишкомъ молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстностью своей природы. Во всю жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и литературныхъ занятіяхъ».

Жизнь очень и очень многихъ старыхъ баръ складывалась безъ всякихъ душевныхъ бурь, безъ всякихъ треволненій. Шла она благополучно въ гимназіи, въ университетѣ, на службѣ и тихо угасала на перинѣ, безъ исканій, безъ уклоненій въ сторону. Своеобразный фатумъ, пожалуй даже предопредѣленіе, изложенное въ разныхъ грамотахъ, пожалованныхъ россійскому дворянству,—руководила ею. Надо было только не выходить изъ рамокъ. Но вѣдь обломовщина справедливо считается основной чертой старо-русскаго характера, и «горе отъ ума» для всѣхъ гораздо менѣе характерно, чѣмъ страданіе отъ ожирѣнія.

«Горя отъ ума» С. Аксаковъ не зналъ совершенно. Жизнь какъ-то проходила мимо него, не зацѣпляя его и лишь добродушно улыбаясь ему въ отвѣтъ на его постоянную добродушную улыбку. Въ немногія строки укладывается «бурный періодъ» его юности.

«Въ 1808 г. семейство Аксаковыхъ переѣзжаетъ въ Петербургъ и, по совѣту Карташевскаго, Сергѣй Тимофеевичъ опредѣляется переводчикомъ коммиссіи составленія законовъ. Какъ это мѣсто, такъ и время опредѣленія на него было такого рода, что, не будь молодой чиновникъ всецѣло поглощенъ сценой

ими интересами, онъ могъ-бы весьма значительно расширить юй умственный кругозоръ. Онъ это не сдѣлалъ и даже его увлееніе сценой прошло безслѣдно, ибо за всю жизнь Сергѣй Тимоеевичъ, если не считать переводовъ, не обмолвился ни единой раматической строчкой, и такимъ образомъ все его общеніе съ атральными сферами сводилось къ тому, что онъ вертѣлся за улисами».

Прибавлять къ этому нечего: впечатлѣнія закулисной жизни исколько не нарушали «младенческой ясности души», а когда га послѣдняя захотѣла опредѣлиться, то естественно, что она выилась въ теорію, вполнѣ соотвѣтствующую ей по своей наивности.

Изъ воспоминаній С. Аксакова мы знаемъ, что еще студенмъ въ Казани онъ не долюбливалъ Карамзина и пришелъ ь великій восторгъ отъ знаменитаго шишковскаго «Разсуженія о старомъ и новомъ слогѣ» и прибавленій къ нему. «Эти ниги совершенно свели меня съ ума — разсказываетъ Сергѣй имофеевичъ.—Я увѣровалъ въ каждое ихъ слово, какъ въ ятыню. *Русское* мое направленіе и *враждебность* (откуда-бы ыть ей, кажется?) ко всему иностранному укрѣпились сознаельно, и темное чувство національности выросло до исключиельности!» Еще болѣе великъ былъ восторгъ Аксакова, когда цинъ изъ его сослуживцевъ по коммиссіи составленія закоовъ—Казначеевъ—оказался роднымъ племянникомъ Шишкова когда этотъ племянникъ, такой-же ярый славянофилъ, какъ и о дядя, узнавъ объ образѣ мыслей Сергѣя Тимофеевича, обѣалъ его на слѣдующій же день познакомить съ адмираломъ. накомство состоялось, и Сергѣй Тимофеевичъ сталъ домашнимъ ловѣкомъ у творца теоріи, по которой слѣдовало говорить вмѣо «министръ» «дѣловецъ государственный», вмѣсто «ассиентъ»—«присутственикъ», вмѣсто «аллея»—«прохожь» и т. д.

Очевидно, что подъ такимъ вліяніемъ «русское мое направніе» и «враждебность (!) ко всему иностранному» должны были це укрѣпляться до крѣпости замороженной воды. Увлекшись— ли, лучше сказать, на обломовскомъ жаргонѣ—*допустивъ* себя влечь націонализмомъ, Аксаковъ восторгался напр. Николевымъ называлъ его безсмертнымъ, хотя Николевъ знаменитъ лишь ихами, передъ которыми спасуетъ самъ Тредьяковскій. Возьте хотя-бы такой вотъ апоѳеозъ Россіи:

Блисталъ конь бѣлъ подъ нимъ, какъ снѣгъ Атлантскихъ горъ,
Стрѣла летяща—бѣгъ, свѣча горяща—взоръ,

Дыханье—дымъ и огнь, грудь и копыта—камень,
На немъ Малекъ-Адель—или сраженій пламень.

Такими стихами Аксаковъ восторгался. «Россія!»—твер
онъ. А вотъ удивительно, какъ напр. событія 1812 г. пре
совсѣмъ мимо него. По крайней мѣрѣ С. А. Венгеровъ гово
«Время нашествія Наполеона и слѣдующіе два года Се
Тимофеевичъ провелъ въ деревнѣ. Онъ не только не принялъ
какого участія въ событіяхъ этихъ бурныхъ лѣтъ, но какъ-то
даже впечатлѣнія никакого на него не произвели, такъ что
его воспоминаніяхъ, необыкновенно подробныхъ и прямо даже
мительныхъ тѣмъ, что въ нихъ обстоятельно говорится букв
о каждомъ пустякѣ, *для событій отечественной войны*, к
и для всѣхъ остальныхъ явленій общественной жизни
мѣста не нашлось даже. Не можемъ не подчеркнуть э
обстоятельства, потому что оно очень характерно для того,
бы показать, до чего умственная жизнь молодого Аксакова б
заполонена декламаціей и всякими театральными интересами».

Въ періодъ отечественной войны Аксаковъ не дѣлалъ
того, что дѣлали всѣ остальные дворяне,—не кричалъ «ура»
снаряжалъ батальоновъ изъ дворовыхъ. Онъ мирно почивалъ
въ своей Аксаковкѣ—истинный Обломовъ во всемъ, что каса
общественности.

Въ сущности его жизнь превращается въ календарь. Въ 18
году онъ женился; 1816—1820 гг. прожилъ исключительно
деревнѣ, въ 1826г. поселился на постоянное жительство въ Моск
въ 1827 для увеличенія доходовъ сталъ цензоромъ и на
жестоко преслѣдовалъ «Московскій Телеграфъ» Полевого,—лу
и несомнѣнно прогрессивный журналъ своего времени, служил
Межевомъ училищѣ, сначала инспекторомъ, потомъ директор
и вѣроятно умеръ-бы на перинѣ, еслибы нѣкоторыя обстоят
ства не пробудили его громаднаго, но спавшаго все время ли
ратурнаго таланта.

III. Литературная дѣятельность С. Т. Аксакова.

Есть таланты дѣятельные, энергичные, ищущіе путей; е
другіе — вялые, совершенно безсознательные, безъ настоящ
внутренняго импульса, которые ждутъ, чтобы ихъ натолкн
на работу, указали-бы имъ настоящій родъ творчества, и тол

такомъ случаѣ «исполняютъ они дѣло свое». Обломовъ-Аксаковъ 50 лѣтъ своей жизни подчинялся тому, про что ему говорили—«это хорошо». Онъ восторгался Шишковымъ, Николевымъ, Кукольниковымъ—даже водевилистомъ Писаревымъ. Ему толковали, что это «геній», и какъ-разъ *такимъ* геніемъ и хотѣлось быть. Онъ переводилъ Буало, ложноклассическія трагедіи, сочинялъ водевили и былъ какъ нельзя болѣе доволенъ собою. Онъ и не подозрѣвалъ даже, какая въ немъ скрыта громадная антезирующая машина дѣйствительности! Онъ настойчиво приподнималъ свой слогъ до «высокаго штиля»; свои чувства—до «громъ побѣды»; свои мысли — до «теоріи русскаго націонализма», не подозрѣвая даже, что все это совершенно не нужно, что это — лишь обломовщина, приподнявшаяся съ кровати и старающаяся продрать глаза. Ему невѣдомо было, что̀ онъ зналъ, что̀ онъ чувствовалъ: знанія и чувства дремали, а съ просонокъ можно было перекрещивать цѣлыя страницы «Московскаго Телеграфа»—якобы «вреднаго» и антипатріотическаго журнала русскаго.

Гоголь разбудилъ С. Т. Аксакова; Гоголь — это таинственно страшная сила, неоцѣнимая и неоцѣненная, чей смѣхъ, надѣюсь, будетъ еще преслѣдовать и нашу русскую жизнь вообще — еще много и много лѣтъ, — показалъ Аксакову его самого.

С. Тим. сталъ писать очень рано—лѣтъ 16-ти; сначала—мадригалы, потомъ — пасторали и въ сущности всегда и повсюду перевоплощалъ свой первый мотивъ:

Другъ весны, пѣвецъ любезнѣйшій,
Будь единой мнѣ отрадою,
Уменьши тоску жестокую,
Что снѣдаетъ сердце страстное,
Пой красы моей возлюбленной,
Пой любовь мою къ ней пламенну,
Исчисляй мои страданья всѣ,
Исчисляй моей дни горести и т. д.

Неискренность и выдумка, самовзвинчиваніе и самоподыманіе на дыбы—вотъ краткая характеристика литературной дѣятельности Аксакова за первый періодъ. Знакомствомъ съ Гоголемъ начался второй—плодотворнѣйшій:

«Извѣстно,—говоритъ С. А. Венгеровъ,—что къ Гоголю дурно относились не только самые старинные литературные друзья Сергѣя Тимофеевича—разные ископаемые приверженцы Шишковскихъ теорій, но почти вся тогдашняя литература. Еще люди добродушные, вродѣ послѣдняго изъ прежнихъ знакомцевъ Сергѣя Тимофеевича—Загоскина, просто не понимали Гоголя, но большинство литераторовъ прямо

возненавидѣло малороссійскаго «шута», когда публика начала зачитываться его «сказками». Исключеніе составлялъ молодой московский университетскій кружокъ, какъ въ профессорской своей части, такъ и болѣе въ своей студенческой части, группировавшейся около прошедшихъ тогда университетскій курсъ Константина Аксакова, Станкевича и Бѣлинскаго. Въ своихъ неоконченныхъ воспоминаніяхъ Гоголѣ и Сергѣй Тимофеевичъ прямо говоритъ, что только одна московская университетская молодежь и прозрѣла сразу, что въ лицѣ Гоголя народился геніальный писатель.

Во главѣ этихъ энтуазіастовъ шелъ Константинъ Сергѣевичъ, сразу повысившій температуру отношеній, завязавшихся въ началѣ тридцатыхъ годовъ между домомъ Сергѣя Тимофеевича и Гоголемъ, до точки которой они никогда бы не достигли, еслибы домъ Аксаковыхъ имѣлъ своимъ представителемъ одного только степеннаго и уже пожилого тогда Сергѣя Тимофеевича. Константинъ Аксаковъ относился къ Гоголю съ такимъ молитвеннымъ восторгомъ, что заражалъ имъ рѣшительно всѣхъ окружающихъ, и въ результатѣ автора «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки» такъ тепло принимали въ домѣ Сергѣя Тимофеевича, такъ баловали и окружали всякаго рода предупредительностью, что и онъ, въ свою очередь, не могъ не платить такимъ же отношеніемъ. Цѣлыхъ двадцать лѣтъ, съ 1832 г. до самой смерти Гоголя, тянулась эта дружба, поддерживаемая и личными сношеніями и перепиской, и вообще всякаго рода духовнымъ общеніемъ. Въ домѣ Сергѣя Тимофеевича Гоголь обыкновенно читалъ въ первый разъ свои новыя произведенія, и въ свою очередь Сергѣй Тимофеевичъ Гоголю первому читалъ свои беллетристическія произведенія еще въ то время когда ни онъ самъ, ни его окружающіе не подозрѣвали въ немъ будущаго знаменитаго писателя».

Нельзя даже и сомнѣваться въ томъ, что самъ Сергѣй Тимофеевичъ не только-бы не оцѣнилъ Гоголя, а отнесся бы къ нему прямо враждебно, такъ какъ на самомъ дѣлѣ отъ «Мертвыхъ Душъ» къ соловьинымъ пѣснямъ никакого моста перекинуть нельзя. Къ счастью на этотъ разъ нашлись другіе «толкователи», и въ главѣ ихъ стоялъ старшій любимый сынъ Сергѣя Тимофеевича—Константинъ, который, по поводу перваго тома «Мертвыхъ Душъ» издалъ свою извѣстную брошюру «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя...»

Основная мысль брошюры заключается въ томъ положеніи, что въ «Мертвыхъ Душахъ» мы видимъ величавое эпическое созерцаніе древнихъ, утраченное въ продолженіе вѣковъ и снова возстающее передъ нами во всей своей неувядаемой красотѣ, и что у Гоголя мы встрѣчаемъ такую «полноту и конкретность» созданій, какою отличаются только созданія Гомера или Шекспира. «Только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь,—говоритъ К. Аксаковъ,—обладаютъ этой тайной искусства». Подобно тому, какъ у Гомера мы видимъ «всѣ образы природы человѣка, заключенные въ созерцаемой

рѣ, и—соединенные чудно—глубоко и истинно шумятъ волны, сется корабль, враждуютъ и дѣйствуютъ люди», такъ и поэма ›голя «представляетъ цѣлую сферу жизни, цѣлый міръ, гдѣ, къ у Гомера, свободно шумятъ и блещутъ волны, всходитъ солнце, асуется вся природа и живетъ человѣкъ». Большинство читателей, по мнѣнію Аксакова, не подготовлено къ тому, чтобы олнѣ понять и оцѣнить поэму Гоголя, именно потому, что утело вкусъ къ истинной классической красотѣ и приходитъ въ доумѣнье передъ непривычнымъ или, лучше сказать, забытымъ рактеромъ поэтическаго творчества. Въ первыхъ-же строкахъ ›шюры К. Аксаковъ заявляетъ о «Мертвыхъ Душахъ», что редъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, является оправ-ніе цѣлой сферы поэзіи,—сферы, давно унижаемой, древній эпосъ встаетъ передъ нами». Выясняя величіе и всеобъемлющее зна-ніе древняго эпоса, К. Аксаковъ отмѣчаетъ постепенное «обме-ніе его на Западѣ» и затѣмъ провозглашаетъ наступленіе но-й эры художественнаго творчества въ поэмѣ Гоголя, гдѣ «тотъ-глубоко проникающій и все видящій эпическій взоръ».

«К. С. Аксаковъ,—говоритъ Н. Шенрокъ,—замѣчаетъ, что «все—и ха, надоѣдающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади отъ Засѣда-ія до Чубараго, и даже бричка—все это, со всею своею тайною жизни. олемъ постигнуто и перенесено въ міръ искусства». Въ грубую ибку впадаютъ тѣ читатели и рецензенты, которые прежде всего ятъ видѣть въ новомъ произведеніи анекдотъ, спѣшатъ искать за-ку романа, «на все это молчитъ поэма», потому что такое воззрѣ-въ отношеніи къ ней слишкомъ близоруко и грубо, оно устрем-тся на мелочи и частности и не видитъ отраженія въ поэмѣ «без-жнаго океана жизни». Столь-же нелѣпымъ представляется автору шюры недовольство нѣкоторыхъ критиковъ тѣмъ, что «лица у Гоголя ›няются безъ особенной причины, тогда какъ это именно и является ественнымъ слѣдствіемъ истиннаго эпическаго созерцанія, въ кото-ъ «одинъ міръ объемлетъ всѣ эти лица, связуя ихъ глубоко и не-рывно единствомъ внутреннимъ», и «древній, важный эпосъ является своемъ величавомъ теченіи!» Но особенно широкія надежды возла-гъ К. С. Аксаковъ на продолженіе поэмы и видитъ въ первомъ ѣ,—безъ сомнѣнія, подъ вліяніемъ самого Гоголя,—лишь начало и, «дальнѣйшее теченіе которой, Богъ знаетъ, куда приведетъ насъ акія явленія представитъ». Уже въ первомъ томѣ, въ нѣкоторыхъ тахъ, въ описаніи скорой ѣзды Чичикова, критикъ предполагаетъ асти вскрытіе завѣсы съ «общаго субстанціальнаго чувства рус-го».

Вся статья вообще преисполнена самаго восторженнаго молодого ечения, внушеннаго автору и личнымъ расположеніемъ къ Гоголю, неувядаемой прелестью его созданій,—увлеченія, доходящаго до

того, что, соглашаясь признать слогъ Гоголя не образцовымъ, критикъ неожиданно восклицаетъ: «И слава Богу! Это былъ бы недостатокъ».

Такіе восторженныя и въ сущности далеко не безосновательныя рѣчи старшаго любимаго сына не могли не подчинить себѣ Сергѣя Тимофеевича. Художественное чутье подсказывало ему, что въ поэмѣ Гоголя дѣйствительно есть что-то высокое, неразгаданное, а съ другой стороны какъ прекрасно шла къ русофильскому міросозерцанію мысль, что у насъ «*свой* Гомеръ, *свой* Шекспиръ...» Но что дѣлалъ *нашъ* Гомеръ и Шекспиръ? Онъ только довѣрялся своему чувству, только описывалъ жизнь, какъ видѣлъ и понималъ ее. Такъ скоро сталъ поступать и самъ С. Т. Аксаковъ. Въ отношеніи къ нему, геній Гоголя былъ жезломъ Моисея, раскрывающимъ источникъ живой воды среди голой и мертвой пустыни.

«Близость съ Гоголемъ до страннаго скоро повліяла на Сергѣя Тимофеевича, сообщила его петербургской дѣятельности направленіе діаметрально-противоположное тому, котораго онъ до сей поры держался». Онъ пересталъ «выдумывать», пересталъ взвинчивать себя на «высокій штиль», садясь за письменный столъ,—а это все, что требовалось. Онъ началъ разсказывать публикѣ то, что дѣйствительно зналъ, любилъ и помнилъ. Онъ зналъ природу средней полосы Россіи, любилъ ее и до мелочности помнилъ всѣ ея впечатлѣнія, зналъ, любилъ и помнилъ преданія собственнаго семейства и, довѣрившись своей любви, создалъ свои знаменитыя «Записки объ уженьи рыбы», «Записки ружейнаго охотника» и наконецъ свою «Семейную Хронику»,—этотъ лучшій изъ извѣстныхъ мнѣ историческихъ документовъ стародворянской жизни.

Охотничьи записки Сергѣя Тимофеевича имѣли громкій успѣхъ. Имя автора, до тѣхъ поръ извѣстное лишь его литературнымъ пріятелямъ, прогремѣло по всей читающей Россіи. Его изложеніе было признано образцомъ прекраснаго «стиля», его описанія природы—дышущими поэзіей, его характеристика «птицъ и звѣрей» — мастерскими портретами. «Въ вашихъ птицахъ больше жизни, чѣмъ въ моихъ людяхъ»,—говорилъ ему Гоголь. И правда: подъ перомъ Аксакова эти птицы жили своей несложной красивой жизнью...

Но «Записки объ уженьи рыбы» и «Ружейнаго охотника» были лишь пробами талантливаго пера. Весь обломовскій геній Аксакова проявился лишь въ его знаменитой «Семейной Хро-

кѣ». Такой преданности семейнымъ преданіямъ, такой любви родному углу, такой памяти о своей роднѣ—вы не найдете ни какой другой русской книгѣ. Раскрывши первую страницу, вы не видите, чѣмъ вспоено, вскормлено, на чемъ выросло сердце ргѣя Тимофеевича Аксакова, что̀ дало ему устои на всю жизнь, о образовало его взглядъ, его темпераментъ. Любовь къ прошому, къ своему родному—проникаетъ каждую строку и неотрамо дѣйствуетъ на читателя.

«Наряду съ пейзажемъ и общимъ колоритомъ свѣжести и непоедственности,—говоритъ С. А. Вечгеровъ,—остается неизмѣннымъ «Семейной Хроникѣ» и другой элементъ, сообщающій такую высоо художественную цѣнность звѣроловнымъ книжкамъ Сергѣя Тимоевича,—его умѣнье давать яркія и выпуклыя характеристики. И такъ тѣхъ же звѣроловныхъ книжкахъ это умѣніе тоже имѣетъ своимъ очникомъ удивительную беллетрическую память Сергѣя Тимофееа, пронесшую чрезъ многія десятилѣтія сотни и тысячи характеркъ подробностей. Само собою разумѣется, что человѣкъ, проявившій азительную наблюдательность относительно нравовъ птицъ, рыбъ и рей, тѣмъ въ большей степени долженъ былъ проявить ее, когда о коснулось близкихъ ему людей и обстановки, среди которой онъ велъ наиболѣе впечатлительные годы жизни. И дѣйствительно, чисохранившихся въ памяти Сергѣя Тимофеевича подробностей о гѣщичьей жизни было такъ велико, что въ «Дѣтскихъ годахъ Бава-внука» оно ему даже сослужило весьма дурную службу, загродивъ разсказъ чрезмѣрнымъ множествомъ мелочей. Но въ «Семей Хроникѣ» именно это поразительное богатство деталей придало му произведенію удивительную сочность и жизненность. Кто знакъ съ «Семейной Хроникой» даже только по вошедшему во всѣ стоматіи «Доброму дню Степана Михайловича», согласится коно, что едва-ли во всей русской литературѣ есть другая болѣе ная физіологическая картина помѣщичьей жизни добраго стараго мени, съ ея удивительною смѣсью симпатичнѣйшаго добродушія и аго, подчасъ даже звѣрскаго самодурства. И какъ во всѣхъ истинъ шедёврахъ литературы яркость и полнота картинъ и характетикъ «Семейной Хроники» отнюдь не связана съ болтливостью. ого-ли занимаютъ мѣста портреты добродѣтельнаго деспота Степана хайловича, безцѣльно рвущейся куда-то Софьи Николаевны, ея ткаго и симпатичнаго мужа, наконецъ характерной четы Куролеыхъ? Какихъ-нибудь 1, 1½ листа. Да и вся-то «Семейная Хроа со всей галлереей дѣйствующихъ лицъ ея, со всѣми ея разнообными событіями, растянувшимися на пространствѣ многихъ лѣтъ, имаетъ меньше 15 листовъ разгонистой печати. А между тѣмъ какъ это рѣзко запечатлѣвается въ воображеніи читателя, какъ живо исовывается во весь свой ростъ. Такова сила истинно-художеенныхъ пріемовъ».

Несомнѣнно, что горячая родственная любовь продиктовала сакову его книгу. А между тѣмъ можетъ-ли быть что-нибудь

отвратительнѣе нравовъ, выведенныхъ въ ней? Добролю
человѣкъ другогокласса, другого времени, не нашелъ въ «Хрон
ничего кромѣ правдивой картины невыразимой мерзости: «Не
витость нравственныхъ чувствъ,—пишетъ онъ,—извращеніе е
ственныхъ понятій, грубость, ложь, невѣжество, отвращеніе
труда, своеволіе, ничѣмъ не сдержанное,—представляются на
каждомъ шагу въ этомъ прошедшемъ (изображенномъ въ «Хр
кѣ»), теперь уже странномъ, непонятномъ для насъ и скажем
радостью, невозвратномъ... Да, всѣ эти поколѣнія, прожи
свою жизнь даромъ, на счетъ другихъ,—всѣ они должны бы
бы почувствовать *стыдъ*, горькій стыдъ при видѣ самоотвер
наго, безкорыстнаго труда своихъ крестьянъ. Они должны
были вдохновиться примѣромъ этихъ людей и взяться за
съ полнымъ сознаніемъ, что жизнь тунеядца презрѣнна и
только трудъ даетъ право на наслажденіе жизнью. Они не
вѣстились присвоить себѣ это наслажденіе, отнимая его у
гихъ. Горькое, тяжелое чувство сдавливаетъ грудь при воспоми
ніи о давно-минувшихъ несправедливостяхъ и насиліяхъ...»

«Горькаго, тяжелаго чувства» не было и не могло быть у С.
сакова; напротивъ, его отношеніе къ описываемому *чисто-р
ственное*. Пороли—по родственному, собирали оброкъ—по р
ственному, продавали людей—и это по родственному. Патріарх
ность нравовъ—и все тутъ. Съ этой точки зрѣнія Хомяковъ б
правъ, утверждая, что С. Т. Аксаковъ «первый изъ нашихъ
тераторовъ взглянулъ на русскую жизнь положительно, а не
рицательно».

Hier ist der Hund begraben. Въ сущности говоря, то
строеніе, которое создало «Семейную Хронику», было распростра
впослѣдствіи Константиномъ Аксаковымъ на всю старо-р
скую, допетровскую жизнь. Къ чему-же оно сводилось и к
можетъ быть оно формулировано?

Старую пѣсню о томъ, что крѣпостныя отношенія въ значит
ной степени сглаживались и даже красились тѣмъ обстоят
ствомъ, что они были отношеніями между живыми людьми, не
средственно близкими другъ къ другу, непосредственно знавш
другъ друга,—слышалъ, полагаю, всякій. Баринъ благожелатель
относился къ своимъ Петрамъ и Иванамъ, а Петръ и Иванъ
ствовали преданность. «Вы наши отцы, а мы—ваши дѣти»,—
ворили Петры и Иваны, низко кланяясь господамъ, сидѣвш
подъ божницей. Что тамъ и здѣсь подобная идиллія сущес

:а на практикѣ—несомнѣнно, *въ теоріи-же* стародворянскаго :а она была господствующей. Личный характеръ отношеній— ъ, словомъ, къ чему сводится преимущество крѣпостничества по вамъ его панегиристовъ. Какъ противоположность, выставляютъ брику. Здѣсь между хозяиномъ и работниками отношенія со- шенно другого рода. Нѣтъ ни любви, ни преданности, ни даже наго знакомства. Хозяинъ—это предприниматель и только, ра- никъ—рабочая сила, не больше. «Сердечная связь» замѣнена трактомъ, все нравственное вытѣснено юридическимъ. Петръ и анъ обезпечены процессомъ производства, предприниматель наково обезпеченъ имъ. *Живой связи* между людьми нѣтъ.

Но эта-то *живая связь* и вдохновляетъ преимущественно С. :акова. Не подкапываясь подъ догматъ помѣщичьей власти, не одозрѣвая даже его, онъ на самомъ дѣлѣ видитъ въ баринѣ а, въ крѣпостныхъ—дѣтей. Отецъ порою бываетъ строгъ, и—шаловливы, но все это въ порядкѣ вещей, и изъ этого по- ка совершенно логично вытекаютъ всякаго рода наказанія. кое ни на есть,—передъ нами все-же единеніе и нѣтъ мертвя- го холода чисто правовыхъ, экономическихъ отношеній.

Поэтому «Семейная Хроника» и можетъ представиться поло- гельнымъ произведеніемъ, но только для человѣка извѣстнаго сса, извѣстнаго слоя общества, видящаго идеалъ государствен- о и общественнаго устройства въ патріархальности. Такимъ и ъ С. Аксаковъ. Тотъ-же идеалъ, значительно расширенный и пространенный, цѣликомъ перешелъ къ Константину Аксакову.

Для полноты характеристики Сергѣя Тимофеевича приведу колько отрывковъ изъ воспоминаній лицъ, близко знавшихъ его:

«Аксаковъ отличался силою и крѣпостью тѣлосложенія, чему мало способствовали частыя прогулки и занятіе охотою. Но ровье его начало страдать еще лѣтъ за двѣнадцать до кон- ы. Болѣзнь глазъ принудила его надолго запереться въ тем- комнатѣ, и, непріученный къ сидячей жизни, Аксаковъ раз- оилъ отчасти свой организмъ, лишась притомъ одного глаза. рость впрочемъ никогда не покидала его, даже въ послѣдніе ы жизни, когда болѣзнь его развивалась болѣе и болѣе и за- вила его почти постоянно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Онъ ъ живъ и впечатлителенъ попрежнему; ясность духа его была озмутима. Весною 1858 г. болѣзнь Аксакова приняла весьма сный характеръ и стала причинять ему жесточайшія страданія, онъ переносилъ ихъ съ чрезвычайною энергіею и терпѣніемъ.

Послѣднее лѣто провелъ онъ на дачѣ близъ Москвы и, не см на тяжелую болѣзнь, имѣлъ силу въ рѣдкія минуты обще насладиться природою и диктовать новыя свои произведенія торыя ничѣмъ не напоминаютъ того, въ какія тяжелыя ми они созданы. Сюда принадлежатъ «Собраніе бабочекъ», вы шее въ свѣтъ уже послѣ его смерти въ «Братчинѣ», — сбо въ пользу бѣдныхъ казанскихъ студентовъ, которыми онъ осо интересовался. Осенью 1858 г. Аксаковъ переѣхалъ въ гор всю слѣдующую зиму провелъ въ ужасныхъ страданіяхъ. Ни мощь лучшихъ врачей, ни заботы семьи не могли спасти жизни, однако онъ продолжалъ еще иногда заниматься и пи статью «Зимнее утро», «Встрѣчу съ мартинистами», —послѣд изъ напечатанныхъ при жизни его сочиненій, появившееся «Русской Бесѣдѣ» 1859 г., и повѣсть «Наташа», которая на чатана въ томъ-же журналѣ. Весной не оставалось уже надеж и онъ умеръ 30 апрѣля 1859 г.».

IV. Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ.

Внѣшній очеркъ жизни Константина Сергѣевича очень сложенъ. Родился онъ 29 марта 1817 г. въ селѣ Аксаковѣ, гурусланскаго уѣзда, Оренбургской губерніи. Въ Аксаковѣ-Баг вѣ, тоже достаточно извѣстномъ всѣмъ читателямъ «Семейной Хр ники» хотя бы только отрывковъ изъ нея въ христоматіяхъ К. С. прожилъ до 9 лѣтъ, находясь въ постоянномъ общеніи багровскими крестьянами, которые, благодаря благодатнымъ кл матическимъ условіямъ богатаго въ то время и неразграбленн еще Оренбургскаго края, во всѣхъ отношеніяхъ стояли выше битаго крестьянства средней полосы Россіи. «И такъ какъ Ко стантинъ Сергѣевичъ отличался необыкновенно раннимъ умстве нымъ развитіемъ, то нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что именно идилл ческія условія, среди которыхъ прошло дѣтство будущаго восто женнаго проповѣдника необходимости единенія интеллигенціи народомъ, и обусловили въ значительной степени оптимистическ взглядъ его на возможность этого единенія. По крайней мѣрѣ са онъ неоднократно ссылается впослѣдствіи на живыя впечатлѣн вынесенныя имъ изъ личнаго общенія съ народомъ». Это общен продолжалось однако очень недолго, такъ какъ Аксаковы

:26 г. переселились въ Москву, гдѣ Константинъ Сергѣевичъ прожилъ почти безвыѣздно всю свою недолгую жизнь.

До 15 лѣтъ его воспитаніемъ руководилъ отецъ, Сергѣй Ти-феевичъ, прививая къ сыну свое восторженное отношеніе къ сскимъ началамъ вообще, русской литературѣ въ частности; 5-ти же лѣтъ Константинъ Сергѣевичъ поступилъ студентомъ въ осковскій университетъ на словесное отдѣленіе. Онъ былъ, зна-гъ, сверстникомъ и сотоварищемъ Бѣлинскаго, Станкевича, Гер-на. Онъ примкнулъ къ кружку Станкевича и долгое время на-дился подъ обаяніемъ этой свѣтлой, исключительной личности.

Слишкомъ извѣстна жизнь московской университетской моло-жи 30-хъ годовъ, чтобы мы стали долго останавливаться на ней. гголоски ея горячихъ, страстныхъ споровъ слышны еще и теперь. ществовало сплоченное товарищество, жажда познанія, тѣсная ружба среди кружковъ. Русская мысль просыпалась и въ этомъ пробужденіи больше всего повинна была нѣмецкая идеалисти-ская философія и главнѣйше философія Гегеля. Нисколько не реувеличеннымъ являются слѣдующія напримѣръ слова совре-енника:

«Станкевичъ былъ первый послѣдователь Гегеля въ кругу москов-кой молодежи. Онъ изучилъ нѣмецкую философію глубоко и эстети-ески; одаренный необыкновенными способностями, онъ увлекъ большой ругъ друзей въ свое любимое занятіе», и тѣ отъ всякаго приходившаго ь ними въ столкновеніе «требовали безусловнаго принятія феноме-ологіи и логики Гегеля и притомъ по ихъ толкованію. Толковали-е они объ нихъ безпрестанно, нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ ча-тяхъ (Гегелевской) логики, въ двухъ его эстетики, энциклопедіи и р., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ но-ей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлые недѣли, не огласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за биды мнѣнія объ «абсолютной личности и о ея по себѣ бытіи». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губер-кихъ и уѣздныхъ городахъ, нѣмецкой философіи, гдѣ только упоми-алось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до адения листовъ, въ нѣсколько дней».

Ничего страннаго въ преклоненіи передъ Гегелемъ нѣтъ, какъ нѣтъ вообще ничего страннаго въ преклоненіи чистой и искрен-ней юности передъ несомнѣннымъ величіемъ.

«Прежде всего необходимо указать на плодотворнѣйшее начало всякаго прогресса, которымъ столь рѣзко и блистательно отли-чается нѣмецкая философія вообще и въ особенности гегелева си-стема отъ тѣхъ лицемѣрныхъ и трусливыхъ воззрѣній, какія гос-подствовали въ тѣ времена (начало XIX вѣка) у французовъ и

англичанъ: «истина—говорили нѣмецкіе философы—верховная
мышленія; ищите истины, потому что въ истинѣ благо; какова
ни была истина—она лучше всего, что неистинно; первый
мыслителя не отступать ни передъ какими результатами, онъ
женъ быть готовъ жертвовать истинѣ самыми любимыми
мнѣніями. Заблужденіе—источникъ всякихъ пагубъ, истина—
ховное благо и источникъ всѣхъ другихъ благъ». Чтобы оцѣ
чрезвычайную важность этого требованія, общаго всей нѣмец
философіи со времени Канта, но особенно энергично высказан
Гегелемъ, надобно вспомнить, какими странными и узкими у
віями ограничивали истину мыслители другихъ тогдашнихъ шк
они принимались философствовать не иначе, какъ затѣмъ, чт
оправдать дорогія для нихъ убѣжденія, т. е. искали не истины
поддержки своимъ предубѣжденіямъ. Каждый бралъ изъ исти
только то, что ему нравилось, а всякую непріятную для не
истину отвергалъ, безъ церемоніи признаваясь, что пріятное
блужденіе кажется ему гораздо лучше безпристрастной прав
Эту манеру заботиться не объ истинѣ, а о подтвержденіи пріятны
предубѣжденій нѣмецкіе философы, особенно Гегель, прозва
«субъективнымъ мышленіемъ», философствованіемъ для личн
удовольствія, а не ради живой потребности истины. Гегел
жестоко изобличалъ эту пустую и вредную забаву. Какъ н
обходимое предохранительное средство противъ поползновеній укл
ниться отъ истины въ угожденіе личнымъ желаніямъ и предра
судкамъ былъ выставленъ Гегелемъ знаменитый *діалектическій методъ мышленія*. Сущность его состоитъ въ томъ, что мысл
тель не долженъ успокоиваться ни на какомъ положительном
выводѣ, а долженъ искать, *нѣтъ ли въ предметѣ, о которомъ он мыслитъ, качества и силъ, противоположныхъ тому, что представляется этимъ предметомъ на первый взглядъ*. Т
кимъ образомъ мыслитель былъ принужденъ обозрѣвать предмет
со всѣхъ сторонъ, и истина являлась ему не иначе, какъ слѣдств
борьбы всевозможныхъ противоположныхъ мнѣній. Этимъ спос
бомъ, вмѣсто прежнихъ одностороннихъ понятій о предметѣ, мало-по-малу являлось полное, всестороннее изслѣдованіе и составлялось живое понятіе о всѣхъ дѣйствительныхъ качествахъ предмета. *Объяснить дѣйствительность стало существенной обязанностью философскаго мышленія*. Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ дѣйствительности, надъ которой прежде не задумывались, безъ всякой церемоніи искажая ее въ угоду собствен-

ъ одностороннимъ предубѣжденіямъ. Такимъ образомъ добро-
ѣстное, неутомимое исканіе истины стало на мѣстѣ прежнихъ
извольныхъ толкованій. Но въ дѣйствительности все за-
итъ отъ обстоятельствъ, отъ условій времени и мѣста —
лотому Гегель призналъ, что прежнія общія фразы, кото-
ми судили о добрѣ и злѣ, не разсматривая обстоятельствъ
причинъ, по которымъ возникло данное явленіе, — что
общія отвлеченныя изреченія неудовлетворительны. Каждый
дметъ, каждое явленіе имѣетъ свое собственное значеніе, и су-
ть о немъ должно по соображенію той обстановки, среди кото-
оно существуетъ. Дождь напр. можетъ быть благомъ, но мо-
тъ быть и зломъ, война можетъ принести пользу, но можетъ при-
сти и вредъ и т. д. Это правило выражалось формулою: «отвле-
ной взятой внѣ обстоятельствъ времени и мѣста, истины нѣтъ;
тина—конкретна», т. е. опредѣлительное сужденіе можно про-
нести лишь объ опредѣленномъ фактѣ, разсмотрѣвъ всѣ обстоя-
льства, отъ которыхъ онъ зависитъ.

«Свободой изслѣдованія, свободой мысли—вотъ чѣмъ пахнуло
, университетскую молодежь изъ книгъ гегелевой философіи,
тъ что увлекло ее до самозабвенія, вотъ что сдѣлало ея юно-
ескую нетерпѣливую работу не только плодотворной, но и исто-
ческой».

Въ ряду энтузіастовъ гегеліанства, одно изъ первыхъ мѣстъ,
силѣ приверженности къ ученію берлинскаго мудреца, занялъ
онстантинъ Аксаковъ, страстная натура котораго не умѣла ни-
го дѣлать наполовину. Но изъ любой системы, изъ любого уче-
я каждый беретъ лишь то, что онъ можетъ, что подходитъ
ь его природѣ, его настроенію. Все равно какъ темпераментъ и
стоятельства жизни неумолимо вели Герцена въ лѣвый лагерь
геліанства и заставили его мысль объ относительности истины
имѣнить безъ всякихъ уступокъ къ вопросамъ религіи, нрав-
венности, политики и т. д., такъ темпераментъ и преданія се-
йства сдѣлали изъ Аксакова праваго гегеліанца, такого т. е.,
торый искалъ и, разумѣется, находилъ безусловные устои жиз-
. Для К. Аксакова этими безусловными устоями жизни были
ссія, русскій народъ, православіе. Тѣсная связь между нимъ и
ишкомъ свободомыслящимъ кружкомъ Станкевича скоро должна
ла порваться.

«Въ кружкѣ Станкевича (въ серединѣ 30-хъ годовъ),—вспоминаетъ
ъ самъ,—выработалось уже общее воззрѣніе на *Россію*, на жизнь, на
тературу, на міръ,—воззрѣніе *большею частію отрицательное*».

«Одностороннѣе всего, — продолжаетъ онъ, — были нападенія на Россію, возбужденныя казенными ей похвалами. Пятнадцатилѣтній юноша, вообще довѣрчивый и тогда готовый вѣрить всему, еще многого не передумавшій, еще со многимъ не уровнявшійся, я былъ поражен такимъ направленіемъ, и мнѣ оно часто было больно; въ особенности больны были мнѣ нападенія на Россію, которую люблю съ самыхъ ранлыхъ лѣтъ. Но, видя постоянный умственный интересъ въ этомъ обществѣ, слыша постоянныя рѣчи о нравственныхъ вопросахъ, я, познакомившись, не могъ оторваться отъ этого кружка и рѣшительно каждый вечеръ проводилъ тамъ».

Это отрицательное направленіе часто даже шокировало Аксакова, «русская душа» котораго ярко опредѣлилась, по свидѣтельству Гильфердинга, еще тогда, когда ему было 9, 10 лѣтъ. Съ болью сердечною воспоминаетъ Константинъ Сергѣевичъ о нападкахъ членовъ кружка на многія частности тогдашнихъ порядковъ.

Но всего ярче отрицательное направленіе кружка выразилось въ вопросахъ чисто-литературныхъ. Вспомнимъ въ самомъ дѣлѣ, что къ эпохѣ процвѣтанія кружка относятся «Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго, гдѣ съ такою безпощадною «дерзостью», по выраженію пришедшихъ въ ужасъ литературныхъ старовѣровъ, было провозглашено, что собственно никакой-то у насъ настоящей литературы и нѣтъ.

«Искусственность россійскаго классическаго патріотизма, — продолжаетъ Константинъ Сергѣевичъ, — претензіи, наполнявшія нашу литературу, усилившаяся фабрикація стиховъ, неискренность печатнаго лиризма,—все это породило въ членахъ кружка справедливое желаніе простоты и искренности, породило сильное нападеніе на всякую фразу и эффектъ».

Но когда это «справедливое желаніе» сопровождалось рѣзкой критикой, подкапываніемъ подъ всякій авторитетъ, К. Аксаковъ чувствовалъ, что онъ уже не дома въ кружкѣ Станкевича.

«Пока оппозиціонный характеръ былъ присущъ кружку Станкевича лишь implicite, пока одностороннее пониманіе формулъ Гегеля (все существующее разумно) приводило къ такимъ проявленіямъ, какъ статья Бѣлинскаго о «Бородинской годовщинѣ»—этотъ апоѳеозу оффиціальнаго патріотизма,—К. Аксаковъ могъ идти рука объ руку съ будущими ожесточенными своими противниками. Но около 1846 г. цѣлый рядъ обстоятельствъ приводитъ къ тому, что скрытый оппозиціонный характеръ кружка переходитъ въ открытый. Умираетъ во-первыхъ Станкевичъ, мягкая натура котораго уже

ловѣшивала и сдерживала рѣзкія выходки другихъ членовъ кружка, затѣмъ — наиболѣе близкій къ Константину Аксакову по кружку Станкевича человѣкъ — Бѣлинскій круто повернулъ въ противоположную сторону отъ праваго гегеліанства и съ такою стремительностью, съ такой же неудержимой страстностью сталъ произносить «буйныя» — по выраженію Константина Аксакова — «хулы» противъ своихъ недавнихъ кумировъ. Бѣлинскій опомнился, увидѣлъ, куда ведетъ признаніе всего существующаго разумнымъ, въ немъ заговорилъ живой человѣкъ, несправедливо обездоленный, — и сжегъ свои корабли. Не вытерпѣлъ этого Аксаковъ, все болѣе и болѣе начинавшій сближаться послѣ смерти Станкевича и отъѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ съ Хомяковымъ, Кирѣевскими, Самаринымъ: онъ пошелъ направо, Бѣлинскій — налѣво.

«У каждаго изъ нихъ при этомъ сердце кровью обливалось. Нужно перечитать напечатанныя въ «Руси» (1886 г.) письма Бѣлинскаго къ Константину Аксакову за 1837-ой годъ, чтобы понять, какая горячая, истинно братская привязанность соединяла обоихъ идеалистовъ. Но именно потому, что оба они были идеалистами, именно потому, что исканіе правды не было для нихъ высокопарною фразою, а насущною потребностью ихъ высокаго духовнаго существа, именно потому-то разрывъ между ними и сталъ неизбѣженъ, какъ только они стали розно понимать истину. «Я по натурѣ *жидъ*» — писалъ Бѣлинскій по поводу своей ссоры съ Аксаковымъ, подразумѣвая подъ этимъ словомъ человѣка съ исключительными симпатіями, которому ненавистно все не свое, который не выноситъ и малѣйшаго компромисса съ «филистимлянами». Но такимъ-же жидомъ по натурѣ былъ и Константинъ Аксаковъ. Для него тоже не существовало истины вообще, онъ тоже понималъ только *свою* истину, — только ту истину, которая окрашена въ любезный ему цвѣтъ, онъ тоже не понималъ какихъ бы то ни было уступокъ, компромиссовъ, соглашеній. И вотъ почему оба прежніе друга играютъ одну и ту-же роль въ тѣхъ лагеряхъ, къ которымъ они примкнули послѣ разрыва. Съ тою же необузданностью, съ какою «неистовый Виссаріонъ» выступаетъ передовымъ бойцомъ западничества, Константинъ Аксаковъ выступаетъ передовымъ застрѣльщикомъ славянофильства въ его наиболѣе крайнихъ проявленіяхъ. Онъ первый надѣваетъ на себя «мурмолку», и первый же провозглашаетъ, что надо вернуться домой въ до-петровскую Русь». «Возвратъ» — вотъ слово, ставшее его знаменемъ».

* * *

Опредѣленіе «субъективнаго элемента» въ области мышленія, хотя бы и руководимаго жаждой правды и истины,—является одной изъ главнѣйшихъ задачъ историка литературы. Не разрѣшивши ея, онъ, можно сказать, не сдѣлалъ и перваго шага. Анализъ біографическихъ данныхъ и обстоятельствъ времени долженъ быть увѣнчанъ возможно полнымъ и основательнымъ отвѣтомъ на вопросъ: почему человѣкъ думалъ такъ, а не иначе, почему онъ, нисколько не лицемѣря, нисколько не кривя душой, необходимо приходилъ къ такимъ-то и такимъ-то выводамъ. Процессъ мышленія однообразенъ только повидимому, въ дѣйствительности у каждаго своя логика. Преданія семьи, классовыя симпатіи, любовь и ненависть—вотъ то прокрустово ложе, на которое даже сильные умы укладываютъ свою мысль, свои аргументы, ad libitum укорачивая и удлинняя ихъ по мѣрѣ надобности. Бѣлинскій напр. могъ увлекаться «эстетическимъ отношеніемъ къ дѣйствительности», могъ писать оды вродѣ статьи о «Бородинской годовщинѣ», но все это лишь до той поры, пока въ немъ не заговорила «кровь», не заговорилъ нищій, обездоленный человѣкъ. Какъ только это случилось—повязка сразу спала съ его главъ, и онъ круто повернулъ въ сторону протеста. Одинаково идеалъ Аксакова — *патріархальность*—питался отнюдь не историческими изученіями, а условіями его жизни, настроеніями его личнаго характера. Чтобы понять его теорію, надо понять его, какъ человѣка.

«Константинъ Аксаковъ,—пишетъ Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ, — въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ оставался до сорока слишкомъ лѣтъ, то есть до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улита къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Внѣ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятій, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой потери, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

Въ сущности, до самой своей смерти онъ оставался «большимъ ребенкомъ», случайно прикомандированнымъ къ общественной жизни, которой онъ не понималъ и понять не могъ, потому что онъ понималъ и могъ понимать лишь одну «дѣтскую».

Окончивши университетъ, Константинъ Аксаковъ въ 1838 г. поѣхалъ заграницу, но эта поѣздка по своей кратковременности прошла для него почти безслѣдно. Сохранился только разсказъ о томъ, что во время пребыванія въ Берлинѣ Константинъ Акса-

въ первый и послѣдній разъ въ жизни пытался сблизиться ценщиной.

«На перекресткѣ одной изъ берлинскихъ улицъ обратила на себя зниманіе молоденькая продавщица цвѣтовъ. Миловидное личико чки показалось ему отраженіемъ столь-же привлекательной души. чалъ онъ каждый день приходить на перекрестокъ и покупать по гу, отваживаясь при этомъ сказать продавщицѣ нѣсколько словъ сторонних предметахъ. Продавщица ласково ему отвѣчала и у ними установилась нѣкоторая интимность. Ободренный этимъ, дой Аксаковъ началъ все дольше и дольше простаивать у при- а продавщицы, началъ приносить съ собою Шиллера и читать изъ наиболѣе возвышенныя и трогающія душу мѣста. Нѣмочка внима- но слушала чтеніе и все болѣе и болѣе задумывалась во время его. щенный Аксаковъ съ восторгомъ наблюдалъ это впечатлѣніе вы- й поэзіи великаго поэта. Но вотъ, въ одно изъ посѣщеній цвѣточ- лавочки, продавщица ему прямо заявляетъ, что Шиллеръ Шилле- ь, а что онъ ей отбиваетъ покупателей, что объ его продолжи- ныхъ посѣщеніяхъ много говорятъ сосѣди, и что если онъ хочетъ олжать знакомство, то ей было-бы желательно получать отъ него нибудь посущественнѣе стиховъ, за что, въ свою очередь, она, не уя отъ него наложенія на себя брачныхъ узъ, готова всецѣло от- ся въ его распоряженіе. Въ ужасѣ слушалъ эти рѣчи упавшій съ прямо въ лужу идеалистъ и въ ужасѣ бѣжалъ изъ цвѣточной чки, и когда впослѣдствіи пріятели, узнавши отъ него въ минуту овенности всю исторію, пробовали дразнить его ею, лицо Аксаковъ перекашивалось отъ внутренняго страданія».

Подобная наивность очень характерна. Она-то и является овнымъ душевнымъ качествомъ знаменитаго славянофила,—ка- твомъ, ни на минуту не покидавшимъ его даже при ученыхъ и ературныхъ трудахъ. Что могло быть наивнѣе, какъ въ сре- тѣ XIX-го вѣка одѣваться въ безобразный до-петровскій костюмъ, водить въ принципъ косоворотку и мурмолку, или предпола- ь, что бѣлокурая нѣмочка, дочь своего вѣка, будетъ всю свою знь слушать Шиллера, восторгаться Шиллеромъ, останется всегда духовной невѣстой Шиллера?... Константинъ Аксаковъ ако не находилъ тутъ ничего страннаго.

Онъ хотѣлъ слиться съ народомъ не только духовно, но даже наружно, и хотѣлъ поэтому измѣнить свой внѣшній обликъ. ля этого онъ надѣлъ на голову мурмолку, нарядился въ ру- шку съ косымъ воротомъ и отпустилъ бороду». Это было смѣшно, улицѣ за нимъ бѣгали зѣваки и называли персіаниномъ; онъ ловался на порчу нравовъ и винилъ въ ней Европу. «Назадъ», омой», любовно «вперивши свой взоръ на Востокъ»—вотъ его миволъ вѣры, воплощеніемъ котораго служили мурмолка и косо-

воротка. Характерно, чѣмъ вдохновлялась въ это
Онъ писалъ въ 1843 г.:

Прошли года тяжелые разлуки,
Отсутствія исполненъ долгій срокъ,
Прельщенія, сомнѣнія и муки
Испытаны,—и взятъ благой урокъ!
Оторваны могущею рукою,
Мы бросили отечество свое,
Умчались вдаль, плѣнясь чужой землею,
Земли родной презрѣвши бытіе.
Преступно мы объ ней позабывали,
И голосъ къ намъ ея не доходилъ;
Лишь иногда мы смутно тосковали:
Насъ жизни ходъ насильственный давил
Предателей, измѣнниковъ не мало
Межъ нами, въ долгомъ странствіи, наш
Въ чужой землѣ ничто ихъ не смущало,
Сухой душѣ тамъ весело жилось!
Слетѣлъ туманъ! предъ нашими очами
Явилась Русь!... Родной ея призывъ
Звучитъ опять, и нашими сердцами
Вновь овладѣлъ живительный порывъ.
Конецъ, конецъ томительной разлукѣ!
Отсутствію насталъ желанный срокъ.
Знакомые тѣснятся въ душу звуки
И взоръ вперенъ съ любовью на Восток
Пора домой! И пѣсни повторяя
Старинныя, мы весело идемъ.
Пора домой! Насъ ждетъ земля родная,
Великая въ страданіи нѣмомъ!
Презрѣніемъ отягчена жестокимъ,
Народнаго столица торжества,
Опять полна значеніемъ глубокимъ
Является великая Москва.
Постыдное, безчестное презрѣнье
Скорѣе въ прахъ! Свободно сердце вно
И грудь полна тревоги и смятенья,
И душу всю наполнила любовь!
Друзья, друзья! Тѣснѣе въ кругъ сомкне
Покорные движенью своему,
И радостно, и крѣпко обоймемся,
Любя одно. стремясь къ одному!
Землѣ родной все, что намъ Небо дало
Мы посвятимъ! Пускай заблещетъ мечъ,
И за нее, какъ въ старину бывало,
Мы радостно готовы стать и лечь.
Друзья, друзья! Грядущее обильно,
Надежды сладкой вѣруйте словамъ,
И жизнь сама, насъ движущая сильно,
Порукою за будущее намъ!...

Смотрите—мракъ ужъ робко убѣгаетъ,
На западѣ земли лишь онъ ростетъ:
Востокъ горитъ, день не далекъ, свѣтаетъ.
И скоро солнце красное взойдетъ!

Но, разумѣется, эта поразительная наивность большого, лучше :азать, «вѣчнаго ребенка» нисколько не мѣшала тому, чтобы ічность Константина Аксакова представлялась въ высокой сте- :ни привлекательной для каждаго изъ близко знавшихъ его. ладенческая чистота души, цѣломудріе въ широкомъ смыслѣ 'ого слова—вотъ что находимъ мы во всѣхъ его характеристи- ıхъ. Намъ необходимо познакомиться съ ними прежде, чѣмъ при- 'упить къ разбору теоріи и взглядовъ Константина Аксакова.

«Какое множество, быть можетъ, умныхъ людей,—начинаетъ г. Би- інъ свои воспоминанія,—съ высоты своего практическаго разумѣнія», ıитали Константина Сергѣевича ребенкомъ и даже дитей. Какъ они ɔлжны были забавляться его простодушной вѣрой въ людей и совер- еннымъ невѣдѣніемъ тѣхъ, такъ называемыхъ практическихъ истинъ, го извѣстны даже весьма дюжиннымъ умникамъ наизусть. Но какъ вся 'а масса свѣтскихъ мудрецовъ пасовала предъ нимъ, передъ этимъ ıладенцемъ на злое», именно ради его неумолимаго и неподкупнаго равственнаго чувства. Никакой сдѣлки съ совѣстью, никакого ком- ромисса или способа уживчивости, никакого modus vivendi кривды ь правдой онъ не допускалъ «Я ему руки не подаю»,—сказалъ мнѣ цинъ разъ Константинъ Сергѣевичъ про человѣка, весьма извѣстнаго ɔгда въ московскомъ свѣтѣ. Признаться, меня это удивило, именно этому, что личность, о которой шла рѣчь, пользовалась всеобщимъ зѣшнимъ почетомъ; трудно-бы было и избѣжать встрѣчъ въ обществѣ менно съ этимъ, бывшимъ тогда въ славѣ, общественнымъ дѣяте- емъ.—«Я не знаю ничего безнравственнѣе свѣтской нравственно- ги»,—продолжалъ, какъ бы въ поясненіе моей мысли, Константинъ ергѣевичъ. «Случалось-ли вамъ слышать такое общепринятое про че- овѣка выраженіе (именно только въ свѣтѣ оно могло родиться): это азбойникъ, это безнравственный человѣкъ, mais c'est un homme tout fait comme il faut, руку ему можно подать»?

Подавать руку «разбойнику», хотя бы тотъ и слылъ за чело- ѣка совершенно приличнаго, Константинъ Аксаковъ не былъ спо- обенъ. Онъ не шелъ никогда ни на малѣйшія уступки свѣтскимъ риличіямъ и свою правдивость доводилъ до ригоризма, не дѣлая никакого различія между важной и пустой ложью.

«Одинъ разъ, — разсказываетъ г. Бицинъ, — пришлось мнѣ про- ить Константина Сергѣевича удѣлить нѣсколько часовъ времени для ыслушанія одной рукописи, а къ ней онъ относился и самъ съ жи- ымъ участіемъ. Онъ назначилъ мнѣ быть на другой-же день. Чтеніе ачалось съ ранняго утра и продолжалось часу до четвертаго. Передъ амымъ началомъ Конст. Серг. оговорилъ въ домѣ, что онъ будетъ анятъ и желающихъ видѣть собственно его не принимать никого. Скоро раздался звонокъ, человѣкъ вошелъ въ комнату и назвалъ фа-

милію пріѣхавшаго. «Сказать, что я занятъ и принять не могу»,— отвѣчалъ Константинъ Сергѣевичъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени послѣдовалъ другой звонокъ, потомъ третій. Человѣкъ попрежнему входилъ съ докладомъ. «Занятъ и принять не могу»,—попрежнему отвѣчалъ Константинъ Сергѣевичъ. Не помню, послѣ котораго звонка и доклада я наконецъ не выдержалъ и спросилъ: почему-бы не сказать въ такихъ случаяхъ общепринятаго *«дома нѣтъ»*? «Очень жаль, что это общепринято»,—съ живостью возразилъ Константинъ Сергѣевичъ,—«но ни въ малыхъ, ни въ большихъ дѣлахъ лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: *не могу принять*, чѣмъ *нѣтъ дома?* Тѣмъ болѣе, что, еслибы кому-нибудь встрѣтилась теперь дѣйствительная необходимость меня видѣть, мнѣ было-бы даже совѣстно лишить этой возможности, да еще и солгать передъ нимъ. Но, вотъ вы сами видите, насъ никто и не безпокоитъ. Мнѣ кажется даже, что, привыкнувъ къ моему обычаю, то-есть къ тому, что я не отказываю фразой *дома нѣтъ*, сами посѣтители тяготятся теперь настаивать на непремѣнномъ свиданіи, а это бываетъ при лживомъ отвѣтѣ *нѣтъ дома»*. Было и еще нѣсколько звонковъ. Послѣ одного изъ нихъ человѣкъ доложилъ фамилію одного изъ профессоровъ Московскаго университета, оговоривъ, что просятъ непремѣнно принять хоть минуты на двѣ. Константинъ Сергѣевичъ, извиняясь за перерывъ чтенія, вышелъ къ тому посѣтителю и даже менѣе, чѣмъ чрезъ двѣ минуты, возвратился назадъ. «Вотъ видите-ли,—сказалъ онъ сіяющій,—мы и опять свободны продолжать чтеніе; такой маленькій перерывъ почти не помѣшалъ намъ. А я радъ, что не отказалъ въ пріемѣ: профессоръ хлопочетъ объ одномъ бѣдномъ студентѣ; дѣло идетъ объ его опредѣленіи, а оно и вовсе не состоялось-бы, еслибы я не далъ себя видѣть; теперь-же дѣло кончено, и молодой человѣкъ устроенъ. И, повѣрьте мнѣ, люди чутки къ правдѣ болѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Откажи я ему подъ предлогомъ, что меня дома нѣтъ и потомъ выйди къ нему по усиленной просьбѣ, онъ продержалъ-бы меня гораздо долѣе, чѣмъ теперь, когда ему сразу сказали, что я дома, но занятъ».

Быть можетъ все это и мелочи, но мелочи очень характерныя, почему мы позволимъ себѣ еще задержать вниманіе читателей на искреннихъ воспоминаніяхъ Бицына.

«Мнѣ припоминается, – сообщаетъ онъ, — разсказъ очевидца о диспутѣ Константина Сергѣевича при его магистерской диссертаціи (Ломоносовъ). Это разсказъ Ѳ. М. Д – ва, который въ шестидесятыхъ годахъ и самъ занималъ каѳедру въ Московскомъ университетѣ, а тогда лишь готовился къ тому и былъ наканунѣ своей собственной магистерской диссертаціи. На всѣ возраженія,—разсказывалъ этотъ очевидецъ,—Константинъ Сергѣевичъ отвѣчалъ живо и ничего не уступалъ изъ собственныхъ тезисовъ. Но послѣ одного сдѣланнаго ему замѣчанія магистрантъ вдругъ воскликнулъ: «ахъ, какое дѣльное возраженіе!» и это съ такой дѣтской искренностью и съ такимъ невольнымъ движеніемъ руки, поднесенной къ волосамъ, что вся аудиторія разразилась смѣхомъ. Ясно было, что не личное самолюбіе, а самый предметъ спора занималъ диспутанта.» . . . . . .

«Гоголь въ одномъ изъ своихъ писемъ, теперь уже напечатанномъ въ полномъ изданіи его сочиненій, допустилъ такое выраженіе о Константинѣ Сергѣевичѣ: этотъ человѣкъ боленъ избыткомъ силъ физическихъ и нравственныхъ, тѣ и другія въ немъ накоплялись, не имѣя проходовъ извергаться. И въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи онъ остался дѣвственникъ. Какъ въ физическомъ, если человѣкъ, достигнувъ до тридцати лѣтъ не женился, то дѣлается боленъ, такъ и въ нравственномъ для него даже было-бы лучше, еслибъ онъ въ молодости своей... (многоточіе въ печатномъ подлинникѣ). Но воздержаніе во всѣхъ разсѣяніяхъ жизни и плоти устремило всѣ силы у него къ духу Онъ долженъ неминуемо сдѣлаться фанатикомъ».

«Какъ нельзя сознательнѣй и свободнѣй относился Константинъ Сергѣевичъ даже къ своему дѣвственному состоянію, о чемъ говорится въ этомъ печатномъ письмѣ Гоголя. Были другіе коментаторы этого состоянія Конст. Серг.; они прямо считали его какимъ-то платоническимъ идеалистомъ; сама уже природа у него такая, это его физіологическая черта, не больше. На этотъ счетъ и тѣ, и другіе не правы. Это не было фанатизмомъ съ его стороны ни въ основѣ, ни въ послѣдствіяхъ, какъ могли-бы заключить иные изъ письма Гоголя; это не было и отсутствіемъ подвига, какъ легкомысленно объясняли другіе. Я посмѣлъ ему прямо это высказать какъ-то разъ во время нашей бесѣды.»

«Говорятъ, — сказалъ я, — что въ самомъ организмѣ человѣка заключаются иногда условія для дѣвственнаго состоянія его; иной человѣкъ таковъ уже отъ природы, въ томъ нѣтъ и заслуги съ его стороны. Что вы скажете объ этомъ относительно васъ самихъ?» — «Зачѣмъ такъ думать?» — возразилъ онъ съ живостью — «Даромъ человѣку ничто не дается, достиженіе сего составляетъ нравственный подвигъ. Это подвигъ воли, и очень тяжелый». И столько же скромно, сколько гордо, онъ прибавилъ: «я скажу по крайней мѣрѣ о себѣ: нѣтъ, мнѣ это даромъ не далось». Послѣднее было имъ выговорено съ большимъ усиліемъ.»

Какъ и можно было ожидать, Константина Сергѣевича сразила смерть его отца. Онъ захирѣлъ сейчасъ-же послѣ нея и уже не могъ поправиться. «Большой ребенокъ», оставшись одинъ, не могъ не погибнуть. 30-го апрѣля 1859 года умеръ Сергѣй Тимофеевичъ. Я, разсказываетъ Бицынъ, зашедши въ редакцію «Русской Бесѣды», —

«услыхавъ мало утѣшительнаго: Константинъ Сергѣевичъ былъ безнадеженъ; не только свои, и чужіе боялись за него. Его укоряли, что онъ не бережетъ себя, еще прямо и въ томъ, что онъ какъ-бы намѣренно убиваетъ себя. Къ этому прибавляли, что онъ страшно измѣнился. Хорошо предупрежденный на этотъ счетъ, я готовился быть особенно осторожнымъ при встрѣчѣ съ нимъ. Перебѣжавъ только улицу, ужъ я былъ на Кисловкѣ, а сдѣлавъ еще шаговъ тридцать къ знакомому дому, ужъ видѣлъ палисадникъ за перилами, большія ворота, и изъ воротъ, въ противоположную отъ меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагналъ вслѣдъ; медленно отходившій отъ меня обернулся. Можно-ли было узнать прежняго, бодраго душевно и тѣлесно Константина Сергѣевича. Мало сказать: онъ страшно из-

мѣнился въ лицѣ! нѣтъ, а отъ общей исхудалости и было еще что-то удлиненное и утоненное во всей фигурѣ. Пепельность бороды и усовъ, вдругъ взявшаяся просѣдь, вмѣсто прежняго ихъ цвѣта; съ ногъ до головы чрезвычайная угрюмость во всемъ видѣ; неподвижный, какой-то внутрь самого себя обращенный, самоуглубленный взоръ и тихость, жуткая тихость,—поразила меня. Я иду въ церковь,—сказалъ онъ,—какъ служба отойдетъ—вернусь. Вы меня застанете дома, я жду васъ.

— Но, Константинъ Сергѣевичъ, поберегите себя,—вырвалось у меня совершенно невольно.

Тутъ-же, стоя на улицѣ, онъ отвѣчалъ очень серьезно, но тихимъ и задумчивымъ голосомъ, а не какъ бывало: «Да, меня упрекаютъ. На меня даже взводятъ обвиненіе, что я не удерживаюсь отъ горя, даю ему волю и намѣренно разстраиваю себя. Не вѣрьте этому. А я просто не могу».

«Кто разсчитывалъ на время, — говоритъ въ другомъ мѣстѣ г. Бапинъ, — надѣясь еще, что само время излечитъ, тотъ ошибся вдвойнѣ. «Время тутъ ничему не поможетъ, повѣрьте»,—говорилъ онъ мнѣ еще тогда въ Москвѣ, и Аксаковъ былъ правъ. Въ горести, давившей всего существо, не было ничего эффектированнаго съ самаго начала; ничего такого, что было бы связано, какъ тамъ онъ говорилъ, съ нервнымъ разстройствомъ, а лишь въ такихъ случаяхъ и помогаетъ время. Это была, напротивъ того, скорбь, усиливавшаяся съ каждымъ днемъ, потому что каждый новый день приносилъ и большее разувѣреніе въ возможности будущаго и настоящаго безъ прошлаго».

Тоска одолѣвала Константина Сергѣевича и заполонила его наконецъ. Грустью и полной безнадежностью дышетъ отъ слѣдующихъ строкъ одного изъ послѣднихъ предсмертныхъ его писемъ:

«Вы приглашаете меня къ вамъ въ деревню, братъ показалъ мнѣ письмо ваше, приглашеніе ваше такъ искренно, въ немъ сказалось такое дружеское движеніе, что мнѣ захотѣлось непремѣнно написать вамъ и вотъ я пишу. Я всегда очень много цѣнилъ въ жизни привѣтъ и всегда съ такою радостью на него отзывался, но привѣтъ вовсе не такъ часто встрѣчается въ жизни, какъ, можетъ быть, думаютъ. Въ вашихъ словахъ мнѣ послышался именно этотъ привѣтъ, который такъ рѣдокъ. Еслибъ это приглашеніе ваше сдѣлано было-бы при батюшкѣ, тогда я не проѣздомъ къ Хомякову, а нарочно-бы къ вамъ поѣхалъ. Но теперь, любезнѣйшій... все кончилось. Ни удовольствіе, ни радость жизни для меня существовать не могутъ. Однимъ словомъ, жизнь кончилась,—жизнь, какъ моя. Я здѣсь еще, подъ условіями этой жизни, но это не *моя* жизнь. Все доброе, все хорошее въ другихъ - я чувствую, отзываюсь на это, какъ и на ваше приглашеніе, и только. Еслибъ вы предлагали мнѣ какое-нибудь удовольствіе, мнѣ было-бы пріятно видѣть ваше желаніе, а отъ самаго удовольствія я-бы отказался, потому что его нѣтъ для меня. Такъ и теперь вы все сдѣлали, пригласивъ меня, и дали мнѣ все, что я могу теперь принять. Прежде для меня было-бы истиннымъ удовольствіемъ повидаться съ вами у васъ .. взглянуть на юную семью въ обстановкѣ природы со всей ея недостижимой красотою, которую батюшка передаетъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ не-

подражаемо. Но этого прекраснаго удовольствія для меня теперь быть не можетъ. Это все кончилось. Вы знали Конст. Серг., который удитъ, куритъ, съ восхищеніемъ радуется жизни и природѣ въ каждомъ ея проявленіи, будь это зима или лѣто, будь это палящее солнце или дождь, промачивающій насквозь,—Конст. Серг., который любитъ слышать въ себѣ силы именно тогда, когда неудобство, стужа или что-нибудь подобное ихъ вызываетъ; который въ восхищеніи и крѣпнетъ на телѣгѣ, прыгающей по камнямъ, или подъ дождемъ, его всего обливающимъ,—Конст. Серг., который 28 верстъ проходитъ не присаживаясь, выпиваетъ сливокъ, потомъ квасу и отправляется еще, взваливъ на себя огромныя удилища,—удить. Теперешній Конст. Серг. не удитъ, не куритъ, смотритъ и не видитъ природы, или болѣзненно ее чувствуетъ и даже отворачивается отъ нея; нѣженкой онъ не сдѣлается, слабымъ тоже, но не слышитъ въ себѣ этого пріятнаго ощущенія силъ, не ищетъ чего-нибудь понеудобнѣе и потяжелѣе; ему все равно, карета-ли или любимая телѣга, въ которой онъ прежде даже и стихи писалъ. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена прекрасныхъ радостей, и вотъ я помянулъ себя въ письмѣ къ вамъ. Благодарю-же васъ... за все радушіе, какое я видѣлъ-бы у васъ. Обнимаю васъ крѣпко... Я занимаюсь довольно; это я считаю своимъ долгомъ, который я долженъ выполнить. Постараюсь сдѣлать все, что могу, на что имѣю способности, и такимъ образомъ расплатиться съ долгами. Я точно собираюсь переѣхать и укладываюсь. Прощайте... Вашъ Константинъ Аксаковъ». Былъ и post-scriptum: время дѣйствуетъ на меня совершенно наоборотъ противъ того, какъ полагаютъ».

Письмо это относится къ августу 1859 года.

Всю зиму К. С. чахнулъ; весной и лѣтомъ заболѣлъ такъ, что его отправили заграницу; въ томъ-же 1860-мъ году онъ и скончался, 7-го декабря, вдали отъ родины, въ Греческомъ архипелагѣ, на островѣ Занте. Заграницей первоклассныя знаменитости, иноземные врачи дивились чахоткѣ и сухоткѣ этого богатыря, умирающаго съ тоски по своемъ отцѣ; собственно, вся и болѣзнь была въ этомъ. Доктора не давали лекарствъ, не прописывали рецептовъ, совѣтовали только развлекать его. Тогда Италія шумѣла именемъ Гарибальди; въ ней пробуждалось народное движеніе, его совѣтовали пускать туда, а указывали на какія-нибудь «увеселительныя» воды или даже на Парижъ, совѣтуя возить на разныя зрѣлянья, а если въ театръ, то исключительно въ водевили, но жить такимъ образомъ для Конст. Серг. значило - не жить. Онъ уже умиралъ; послѣднія остававшіяся средства, хоть для продленія послѣднихъ дней, медики свели на «теплый морской климатъ», и вотъ онъ попалъ на островъ Занте. Когда пароходъ везъ его къ тому послѣднему пристанищу, онъ съ болѣзненной грустью глядѣлъ въ волны и говорилъ своему неизмѣнному спутнику, сопро-

вождавшему его брату, Ивану Сергѣевичу Аксакову: «неужели однако ужъ и кончено? Какъ ни ожидалъ я, но чтобы такъ ужъ скоро, кто-бы думалъ?»

На пустынномъ островѣ не было русскаго православнаго священника для исповѣди больного; нашелся грекъ, едва говорившій порусски. У этого-то грека и исповѣдался умирающій на своемъ любимомъ языкѣ.

V. Славянофильская доктрина.

Теперь читатель знаетъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Очевидно Аксаковъ не покривитъ душой, не утаитъ ничего, что у него на сердцѣ, и будетъ говорить съ искренностью вѣрующаго на исповѣди. Тѣмъ легче и интереснѣе ознакомиться съ его ученіемъ. Выросшее на почвѣ любви и ненависти, оно старалось однако опереться на историческія данныя и явиться въ свѣтъ въ наукообразной формѣ. Съ большимъ усердіемъ и несомнѣннымъ знаніемъ дѣла К. Аксаковъ привлекалъ исторію на свою сторону, постоянно доказывая и передоказывая слѣдующія основныя свои положенія.

«1) Народъ не нуждается ни въ какихъ указаніяхъ, въ особенности со стороны нашихъ нахватавшихся верховъ европейской цивилизаціи «культурныхъ людей.

«2) У народа есть свое стройное и устойчивое міросозерцаніе, не только вполнѣ пригодное для ежедневной, сѣрой крестьянской жизни, но способное выдержать натискъ міросозерцанія людей, безконечно превосходящихъ мужика образованіемъ и соціальнымъ положеніемъ.

3) Въ частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, если и не самобытная, то все таки окрашенная самостоятельнымъ пониманіемъ религіозность, на совокупности которыхъ и строятся соціальныя отношенія крестьянской общины.

«4) Народная нравственность основана на чувствѣ справедливости. Это чувство народъ никогда не понимаетъ въ формальномъ математическомъ смыслѣ. Вотъ почему, строго блюдя интересы *всей* общины, онъ все-таки смотритъ затѣмъ, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдѣльныхъ личностей не страдали бы отъ соблюденія мірскихъ выгодъ.

«5) Религіозность народа, какъ и нравственность его, не внѣш-

ія и не показная. Она есть удовлетвореніе внутренняго призыва ь добру.

«6) Источникъ нравственности и религіозности народа кроется ь исповѣдуемой имъ православной вѣрѣ. Когда староста Антонъ, ункть за пунктомъ, разрушилъ всю «сивилизаціонную» проамму своего барина, между «сбитымъ совершенно съ толку» Лувицкимъ и его собесѣдникомъ произошелъ такой разговоръ *).

«*Луп.* Антонъ, ты гдѣ учился? *Стар.* Нигдѣ, батюшка. *Луп.* Грамотѣ умѣешь? *Стар.* Умѣю, батюшка. *Луп.* Что ты чиалъ? *Стар.* Церковныя книги, батюшка».

«7) Совокупность всего вышесказаннаго создала глубоко-своеобразный правовой, экономическій и нравственный институтъ, — рестьянскій «міръ», который есть хранитель истинно-народныхъ радицій и панацея противъ тѣхъ золъ, которыя при иномъ строѣ овели бы къ цѣлому ряду соціальныхъ и индивидуальныхъ неправедливостей».

Въ сущности говоря, всѣ эти семь членовъ аксаковскаго симола вѣры являются прямымъ и косвеннымъ укоромъ западно-евроейской жизни. Нечего даже и говорить, чѣмъ больше всего дорожитъ Константинъ Аксаковъ. Онъ очевидно дорожитъ *живою равственною связью* между людьми, которая поддерживается бщинными укладами. При нихъ нѣтъ формальной справедливости, ащищающей лишь интересы большинства, при нихъ есть полная вобода для проявленія внутреннихъ позывовъ къ добру, есть мѣсто ля непрестанно дѣйствующей религіозности.

Чего лучше? Въ сущности противники Константина Аксакова ногли только сказать ему: «вы нарисовали прекрасную картину своеобразнаго правоваго, экономическаго института. Мы не дуаемъ оспаривать его достоинствъ. Признаемъ вмѣстѣ съ вами, ито крестьянскій міръ дѣйствительно держится на религіозно-нравственныхъ устояхъ, что справедливость жизни осуществляется въ ого обстановкѣ лучше, чѣмъ гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ. Только *покажите* намъ его, сдѣлайте для насъ очевиднымъ, что онъ дѣйствительно такъ хорошъ, какъ вы говорите, и мы—ваши».

Какъ бы предчувствуя эту оговорку, Константинъ Аксаковъ въ ой же пьесѣ пошелъ ей на встрѣчу, и въ этомъ-то случаѣ особенно ясно и рѣзко проявилась «субъективная сторона его мышленія.

Есть въ этой пьессѣ кое-что, что не сразу бросается въ глаза

*) Въ комедіи К. Аксакова «Князь Луповицкій».

и требуетъ кое-какихъ разъясненій,—разъясненій, тѣмъ болѣе необходимыхъ, что дѣло идетъ объ основной чертѣ міровоззрѣнія Константина Аксакова. Крестьянскій бытъ онъ характеризуетъ исключительно въ мажорномъ, какъ выражается С. Венгеровъ, тонѣ. Краски получаются суздальскія — все больше красное съ золотомъ, — но въ высшей степени характерныя какъ для самого Аксакова, такъ и для всей славянофильской школы вообще. И является этотъ мажорный тонъ у Константина Аксакова потому, что происхожденіе его народолюбія не то, что у народолюбцевъ противоположнаго западническаго лагеря.

Если мы въ самомъ дѣлѣ присмотримся къ исторіи западническаго народолюбія, намъ не трудно будетъ убѣдиться, что источникъ его кроется въ *жалости* нравственно чуткихъ представителей русскаго культурнаго класса къ бѣдственному положенію мужика и въ чувствѣ раскаянія, которое они испытывали при мысли о своей причастности грѣху вѣкового угнетенія крѣпостного раба.

«Когда въ началѣ сороковыхъ годовъ шедшія къ намъ изъ Франціи «филантропическія», по терминологіи того времени, идеи привели къ необыкновенно яркому пробужденію *общественныхъ* чувствъ и когда тѣ-же самые «люди сороковыхъ годовъ», которые всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ тридцатыхъ годахъ, только и думали, что объ «абсолютахъ», о «святынѣ искусства», о «вѣчной красотѣ», и тому подобныхъ метафизическихъ тонкостяхъ теперь до мозга костей прониклись «политикой», вопросъ о народѣ не могъ не стать однимъ изъ центральныхъ вопросовъ времени. Поколѣніе, вся духовная жизнь котораго сосредоточилась на размышленіяхъ о томъ, справедливъ или несправедливъ существующій общественный строй, прежде всего стало болѣть душою за «униженныхъ и оскорбленныхъ» вообще и за русскаго крѣпостного мужика въ частности. Глашатай этого поколѣнія — «неистовый Виссаріонъ» съ тою же восторженною энергіею, съ которою онъ нѣкогда требовалъ отъ писателей служенія чистому искусству, началъ требовать отъ нихъ опредѣленной общественной тенденціи, подразумѣвая подъ нею, по преимуществу, все ту-же защиту «униженныхъ и оскорбленныхъ» вообще и мужика въ частности. И чутко внимавшіе пламенному искателю истины молодые таланты того времени поддались неотразимому вліянію горячей убѣжденности Бѣлинскаго и, точно сговорившись, почти въ одинъ и тотъ же годъ предстали предъ изумленною публикою съ

ядомъ превосходныхъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежали амыя широкія симпатіи къ загнанному простолюдину. Явился Григоровичъ съ «Деревней» и «Антономъ Горемыкой», въ которыхъ первые былъ показанъ человѣкъ въ крѣпостномъ мужикѣ, явился Тургеневъ съ «Записками Охотника», въ которыхъ то-же желаніе человѣчить мужика было проведено съ еще большею теплотою, явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бродившаго подъ новымъ вліяніемъ прежніе «мечты и звуки» и позабывшаго отнынѣ свою музу народнымъ *страданіямъ* и психологіи народной души».

Для западниковъ, словомъ, мужикъ являлся несправедливо угнетеннымъ, несправедливо преслѣдуемымъ человѣкомъ. Его не только любили, сколько жалѣли, иногда даже мучительно жалѣли, какъ загнаннаго раба.

Изъ діаметрально противоположнаго источника вытекло народолюбіе К. Аксакова. Мужикъ былъ дорогъ ему главнымъ образомъ, какъ хранитель истинно русскихъ преданій. Не потому онъ любилъ мужика, что мужикъ—нашъ меньшой братъ, имѣющій въ силу своего человѣческаго достоинства равное съ нами право на участіе въ жизненномъ пиршествѣ, а потому что онъ видѣлъ въ мужикѣ «живой обломокъ дорогого ему древне-русскаго быта». И вотъ почему, совершенно закрывая глаза на реальную дѣйствительность и на тѣ печальныя условія, среди которыхъ протекала жизнь крѣпостного мужика,—К. Аксаковъ, нисколько не кривя душой, а просто опираясь на впечатлѣнія дѣтства, изображалъ ту жизнь въ самомъ розовомъ свѣтѣ—больше даже, какъ жизнь воистинѣ богатырскую, полную красоты, мощи, поэзіи. Такъ напр., въ «Князѣ Луповицкомъ» всѣ крестьяне очень зажиточны и въ порывѣ *великодушія* даютъ 800 рублей, изъ которыхъ сто приходится на долю старосты, представляющаго изъ себя опять таки не какого-нибудь вора-бурмистра, а высоко-честнаго человѣка, нажившагося исключительно «добродѣтелью», т. е. изъ источника доходовъ, совершенно въ наши дни дискредитированнаго. Дальше, когда еще неузнанный своими крестьянами Луповицкій стороною спрашиваетъ одну изъ попавшихся бабъ, какъ живется мужикамъ его деревни, она прямо говоритъ ему: «намъ грѣхъ Бога гнѣвить, намъ хорошо».

Заподозривать К. Аксакова въ неискренности и въ преднамѣренномъ разукрашиваніи—совершенно невозможно. Мужицкой жизни онъ въ сущности не зналъ и не видѣлъ, по характеру-же своему

онъ былъ склоненъ разсматривать все черезъ розовыя очки. «Все дѣло тутъ въ томъ, что, упрекая другихъ въ кабинетности и незнаніи народа, К. Аксаковъ, какъ улитка, проживший всю свою жизнь въ раковинѣ отцовскаго дома, самъ болѣе другихъ былъ въ этомъ повиненъ и считалъ «знаніемъ» народа изученіе былинъ Владимірова цикла и лѣтописей». Поневолѣ ему все мерещились Ильи Муромцы, да Микулы Селяниновичи. Живые-же люди, съ которыми ему пришлось водить дружбу послѣ разрыва съ кружкомъ Станкевича и Бѣлинскаго,—всѣ эти Хомяковы, Аксаковы, Кирѣевскіе, наконецъ собственный отецъ его—были люди очень богатые и добрые, не имѣвшіе рѣшительно никакой надобности и никакого расположенія сколько-нибудь дурно обращаться съ своими крестьянами. «Если мы вспомнимъ,— говоритъ С. А. Веселовъ,—съ какимъ добродушіемъ относился Сергѣй Тимофеевичъ къ крѣпостному праву, то намъ станетъ вполнѣ понятнымъ, что и въ сынѣ его, разъ онъ жизни не зналъ, только теоретическіе импульсы могли создать иное, болѣе озлобленное отношеніе. Но именно теоретическіе-то импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тѣ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергѣевича на возможно рѣзкій протестъ противъ темныхъ сторонъ крѣпостного права, для него были несимпатичны уже въ источникѣ своемъ, потому что помимо того, что они шли съ Запада, они говорили о враждѣ и фрондерствѣ, столь нелюбимыхъ имъ. Общее-же его міросозерцаніе и складъ восточно-русской натуры гнули въ сторону усматриванія положительныхъ сторонъ. Конечно это не умаляло степени нелюбви Константина Сергѣевича къ крѣпостному праву, въ ненависти къ коему онъ едва ли уступалъ кому-бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя,—получалось очень странное впечатлѣніе, получался тотъ совершенно неумѣстный мажорный тонъ, то идиллическое изображеніе крѣпостного быта, по поводу коего каждый крѣпостникъ могъ сказать: «зачѣмъ отмѣнять крѣпостное право, когда при немъ такъ хорошо живется народу?»

Живую нравственную связь между людьми К. Аксаковъ нашелъ въ крестьянскомъ мірѣ. Но этотъ міръ былъ не чѣмъ инымъ, какъ обломкомъ древне-русскаго строя, къ выясненію и во славленію котораго направлялись всѣ усилія К. Аксакова, какъ историка. Нечего и говорить, что субъективные элементы его мышленія находили и здѣсь обширное для себя поприще—ничуть не

ньше, чѣмъ въ исторической комедіи «Князь Луповицкій». ъ сущности Аксаковъ — это рѣзко выраженная, чуткая индидуальность—не зналъ себѣ никогда удержу. Онъ не могъ сообщить факта, тѣмъ менѣе истолковать его, не придавши ему краски собственной личности. «Вѣрю, потому-что люблю, и хочу вѣрить, отрицаю—потому что ненавижу и не хочу вѣрить»— вотъ до чего доходилъ его субъективизмъ. Вообще, мнѣ думается, то защитникамъ субъективнаго мышленія въ соціологіи или гдѣ амъ было-бы не безполезно перечитать сочиненія К. Аксакова. Передъ нимъ—они робкія дѣти, слѣпцы, поющіе Лазаря и неувѣренно ступающіе за повадыремъ. «Учитель» не боялся. Онъ извѣстенъ напр., какъ авторъ многихъ прекрасныхъ филологическихъ работъ, и несомнѣнно что онѣ были-бы образцовыми, еслибы не этотъ излюбленный нѣкоторыми нашими профессорами «субъективизмъ мышленія». Образчики его преинтересны.

Начать съ того, что въ самые мелочные, чисто спеціальные вопросы онъ вносилъ весь запасъ своего обычнаго страстнаго отношенія. Какъ уже замѣтилъ П. А. Безсоновъ, Константинъ Аксаковъ «особенно *любилъ* звукъ *ъ*, играющій столь видную роль у насъ и столь много способствующій разысканію филологическому; въ ту-же мѣру онъ *возненавидѣлъ* противника—звукъ *съ*, тою ненавистью, которую можетъ питать добрѣйшее сердце къ чему либо гнусному (!). Онъ расточалъ этому врагу прозвища «надоѣднаго», «назойливаго», «вторгавшагося пролазы», «услужливаго», «рабскаго»; онъ перенесъ сюда смыслъ приторной угодливости, чуждый собственному его лицу и проникшій къ намъ въ видѣ поддакиванія, какъ рабское «да-съ», «нѣтъ-съ»: по тому, какъ самъ говорилъ обыкновенно съ твердостью «да» или «нѣтъ», такъ навѣрное можно было считать признакомъ, что Аксаковъ недоволенъ или гнѣвенъ, когда онъ употреблялъ «да-съ», «нѣтъ-съ».

П. А. Безсоновъ констатируетъ приведенные факты съ чувствомъ умиленія, видя въ нихъ доказательство того, что Константинъ Сергѣевичъ держалъ свое знамя «грозно и честно», поражая имъ въ самое сердце ненавистное «*съ*»... Зато филологическія теоріи распускались пышно и разноцвѣтно.

Главная теорія заключалась въ вредоносномъ вліяніи на русскую грамматику иностранныхъ вѣяній. Эти воззрѣнія принадлежали не только иностранцамъ по паспорту, но и иностранцамъ въ сердцѣ своемъ, хотя-бы и чистокровно-русскимъ.

«Вмѣстѣ съ нашествіемъ иноземнаго вліянія на всю Россію, на

весь ея бытъ, на всѣ начала, и языкъ нашъ подвергся тому-же; его подвели подъ формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и какъ всю жизнь Россіи, вздумали и его коверкать и объяснять на чужой ладъ. И для языка должно настать время освободиться отъ этого стѣсняющаго ига иностраннаго. Мы должны теперь обратиться къ самому языку, изслѣдовать, сознать его и изъ его духа и жизни вывести начала и разумъ его, его грамматику. Она не будетъ противорѣчить грамматикѣ общечеловѣческой, но *только* и *строго* общей, а совсѣмъ не общечеловѣческой - выразившейся извѣстнымъ образомъ у другихъ народовъ и только представляющей свое самобытное проявленіе этого общаго... Въ ней, въ русской грамматикѣ, можетъ быть, полнѣе и глубже явится оно, нежели гдѣ-нибудь. Кто изъ насъ станетъ отвергать общее человѣческое? Русскій на него самъ имѣетъ прямое право, а не чрезъ посредство какого-нибудь народа, оно самобытно и самостоятельно принадлежитъ ему, какъ и другимъ, и кто знаетъ? можетъ быть *ему больше*, нежели другимъ, и можетъ быть міръ не видалъ еще того общаго человѣческаго, какое явитъ великая славянская, именно русская природа... Да возникнетъ-же вполнѣ вся русская самобытность и національность! Гдѣ-же національность шире русской? Да освободится-же и языкъ нашъ отъ наложеннаго на него ига иноземной грамматики, да явится онъ во всей собственной жизни и свободѣ своей» (т. II, стр. 405, 406).

Словомъ, «намъ непремѣнно нужно внести свои русскія воззрѣнія въ русское языкознаніе, и это тѣмъ болѣе необходимо, что русскія грамматическія формы гораздо совершеннѣе». «Я—говоритъ К. С. Аксаковъ—нисколько не завидую другимъ языкамъ и не стану натягивать ихъ поверхностныхъ формъ на русскій глаголъ». Выражаясь метафорически, можно сказать, что иностранныя воззрѣнія заставили щеголять русскій глаголъ въ нѣмецкихъ брюкахъ и пиджакѣ, тогда какъ ему слѣдовало-бы исключительно держаться мурмолки и полукафтана.

Сущность историческихъ трудовъ К. Аксакова сводится, по словамъ его біографа, къ четыремъ основнымъ положеніямъ: 1) что укладъ первоначальной русской жизни былъ не родовой, а общинно-вѣчевой, 2) что русскій народъ рѣзко отдѣлялъ понятіе земли отъ понятія о государствѣ, 3) что древне-русская допетровская Россія представляетъ собою картину высоко-идеальныхъ общественныхъ отношеній и 4) что русскій народъ есть носитель спеціально ему присущихъ высокихъ доблестей, которыя отводятъ ему особое, высокое мѣсто во всемірной исторіи.

Указаніе на могущественную роль общинно-вѣчевого начала въ старорусской жизни является несомнѣнно главной и прекрасной исторической заслугой К. Аксакова. Вѣдь Шлецеръ, Карамзинъ

и ихъ послѣдователи совершенно игнорировали «народъ», занимаясь исключительно «государствомъ». Чутье подсказало К. Аксакову, куда должно быть направлено вниманіе новыхъ изслѣдователей. Но мы только отмѣтимъ заслугу Аксакова; останавливаться-же на ней, какъ прямо не относящейся къ дѣлу, мы не можемъ. Переходимъ поэтому ко 2-му пункту ученія, особенно основательно изложенному въ знаменитой «Запискѣ», поданной К. Аксаковымъ Александру II-му въ 1859 году.

«Русскій народъ,—говоритъ здѣсь К. Аксаковъ,—есть народъ не государственный, т. е. не стремящійся къ государственной власти, не желающій для себя политическихъ правъ, не имѣющій въ себѣ даже зародыша народнаго властолюбія. Русскій народъ, не имѣющій въ себѣ политическаго элемента, отдѣлилъ государство отъ себя и государствовать не хочетъ. Не желая государствовать, народъ предоставляетъ правительству неограниченную власть государственную. Взамѣнъ того русскій народъ предоставляетъ себѣ нравственную свободу, свободу жизни и духа».

Этотъ второй пунктъ славянофильской доктрины—самый существенный. Устанавливая его, Аксаковъ хотѣлъ провести рѣзкую непереступаемую границу между русской исторіей и исторіей западноевропейской. Онъ хотѣлъ дальше показать, что за этой границей живутъ совсѣмъ особенные люди, принципіально противоположные остальнымъ представителямъ рода человѣческаго. Съ спокойной гордостью принялъ К. Аксаковъ знаменитый тезисъ Гегеля, что землю обитаютъ «die Menschen und die Russen», т. е. люди и русскіе, и придалъ ей то толкованіе, что русскіе — это Uebermensch'и, т. е. сверхъчеловѣки или «всечеловѣки», какъ выражался покойный Достоевскій. Почему-же? А потому, что они не хотятъ и не ищутъ, не хотѣли и не искали, не должны хотѣть и не должны искать ни права, ни власти, а лишь любви и правды.

Такъ ли оно въ дѣйствительности? Одинъ публицистъ, подвергнувъ рѣзкой критикѣ этотъ пунктъ славянофильства, пришелъ къ интереснымъ выводамъ, съ сущностью которыхъ мы сейчасъ-же и ознакомимся.

Два важныя событія русской исторіи—призваніе варяговъ и избраніе въ цари Михаила Ѳедоровича Романова—напрасно приводятся Аксаковымъ въ подтвержденіе его мысли. Сознаніе необходимости государственнаго строя и невозможности учредить его собственными средствами, вслѣдствіе постоянныхъ междоусобицъ, заставило новгородскихъ славянъ съ окрестными чудскими племенами при-

звать изъ-за моря объединяющій правительственный элементъ. Это призваніе чужой власти показало дѣйствительную нравственную силу русскаго народа, его способность освобождаться въ рѣшительныя минуты отъ низкихъ чувствъ національнаго самолюбія или народной гордости; но видѣть отреченіе отъ государственности, въ этомъ рѣшеніи создать государство во что-бы то ни стало — нельзя. Въ тѣ отдаленныя времена никакихъ абсолютныхъ государственныхъ формъ Европа (кромѣ Византіи) не знала, исторія непреложно свидѣтельствуетъ, что русскій народъ съ призваніемъ варяговъ нисколько не отказался отъ дѣятельнаго участія въ государственной жизни. Второе событіе, на которое ссылается Аксаковъ, — избраніе на царство Михаила Ѳедоровича, какъ законнаго преемника прежней династіи, столь же мало годится для подтвержденія славянофильскаго взгляда. Не задолго до нашего смутнаго времени въ самой передовой странѣ западной Европы произошли аналогичныя событія; когда среди междоусобій и смутъ погибъ послѣдній король изъ дома Валуа, французскій народъ не учредилъ ни республики, ни постояннаго представительнаго правленія, а передалъ полноту власти Генриху Бурбону, при внукѣ котораго государственный абсолютизмъ достигъ крайней степени своего развитія. Неужели однако изъ этого можно выводить, что французы — народъ не государственный, чуждающійся политической жизни и желающій только «свободы духа».

Если разсуждать, какъ Аксаковъ, то тотъ-же антиполитическій характеръ слѣдуетъ признать и за испанскимъ народомъ, который послѣ революціонныхъ смутъ конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, какъ только избавился отъ нашествія иноземцевъ (подобно русскимъ въ 1612 г.), призвалъ къ себѣ законнаго государя и предоставилъ ему неограниченную монархическую власть. То-же и въ другомъ случаѣ.

Вообще для характеристики русскаго народа въ государственномъ отношеніи нѣтъ причины ограничиваться московской и петербургской эпохами. Если-же мы обратимся къ кіевской Руси, то тутъ тезисъ Аксакова оказывается уже вполнѣ несостоятельнымъ. По справедливому замѣчанію одного безпристрастнаго критика, этотъ тезисъ всего лучше опровергается собственными сочиненіями Константина Аксакова, въ которыхъ показывается положительное и рѣшающее участіе *народнаго* земскаго элемента въ русской политической жизни до-монгольскаго періода.

А между тѣмъ этотъ тезисъ о разграниченіи русскимъ наро-

омъ земли отъ государства былъ очень важенъ для К. Аксакова, бо, принявши его, можно сразу провести рѣзкое различіе между усскимъ и западно-европейскими народами: эти послѣдніе политиянствуютъ, первый-же смиренно подаетъ мнѣнія, когда его о омъ спрашиваютъ.—Изъ своего тезиса К. Аксаковъ дѣлалъ слѣуюціе выводы:

Правительству—неограниченная власть государственная, поитическая; народу—полная свобода нравственная, свобода жизни і духа (мысли и слова). Единственно, что самостоятельно можетъ і долженъ предлагать безвластный народъ полновластному правительству—это мнѣніе (слѣдовательно сила чисто нравственная),—інѣніе, которое правительство вольно принять и не принять. Іравительству—право дѣйствія, народу—право мнѣнія и слѣдоательно слова.

Не трудно видѣть, сколько метафизическаго тумана напущено ъ эти немногія строки. Кто на самомъ дѣлѣ поручилъ К. Аксакову говорить отъ имени народа русскаго? «Взглядъ русскаго ародa на затронутый предметъ, — говоритъ Вл. Соловьевъ—въ очности не извѣстенъ, позволительно однако думать, что значительное большинство этого народа рѣшительно предпочло-бы свободу отъ податей и отъ военной повинности самой полной свободѣ слова». На самомъ дѣлѣ странно было-бы воображать себѣ англоманствующихъ подлиповцевъ, но Аксаковъ съ наивностью кабинетнаго человѣка выдаетъ свои культурныя вожделѣнія за общенародныя. Въ подтвержденіе своей мысли онъ ссылается на то, что «нашъ народъ во время призванія варяговъ хотѣлъ оставить для себя свою внутреннюю собственную жизнь—жизнь мирную духа». Что хотѣлъ и чего не хотѣлъ нашъ народъ во время призванія варяговъ,—вещь темная, и приписывать ему можно какія угодно желанія. Только кому какое дѣло до того, о чемъ мечтали Гостомыслы IX-го вѣка?

Такимъ образомъ аргументація К. Аксакова, несмотря на благородство и чистоту его намѣреній, оказывается совершенно неубѣдительной. Онъ не замѣчаетъ даже, въ какое жестокое противорѣчіе приходится ему впасть. Разъ полновластное правительство и безвластный народъ—догматы, то какъ можно даже заикаться о какой-бы то ни было свободѣ слова? «Вѣдь свобода слова—одно изъ крупнѣйшихъ политическихъ пріобрѣтеній западныхъ народовъ.

Не *политическій*, а нравственный путь развитія считаетъ Аксаковъ истинно русскимъ путемъ. Къ этому взгляду приспо-

соблено и пригнано все пониманіе имъ русскаго прошлаго. «Онъ твердитъ каждую минуту, что русскій народъ никогда не хотѣлъ власти, всегда даже открещивался отъ нея, какъ отъ навожденія. Онъ не признаетъ никакихъ исключеній изъ этой своей всеобъемлющей формулы. «Многіе думаютъ о Новгородѣ — пишетъ онъ напр. — какъ о наиболѣе мѣнявшемъ князей, что онъ былъ республика: совершенно ложно! Новгородъ не могъ оставаться безъ князя. Возьмите новгородскую лѣтопись, прочтите, съ какимъ ужасомъ говоритъ лѣтописецъ о томъ, что они три недѣли были безъ князя».

По мнѣнію Аксакова, черезъ всю исторію Россіи, начиная съ древнѣйшихъ временъ ея и вплоть до междуцарствія и Петра, проходитъ это рѣшительное открещиваніе отъ власти. «Государство (т. е. власть) никогда у насъ не обольщала собой народа, не плѣняло народной мечты; вотъ почему, хотя и были случаи, не хотѣлъ народъ нашъ облечься въ государственную власть, а отдавалъ эту власть выбранному имъ и на то назначенному государю, самъ желая держаться своихъ внутреннихъ, жизненныхъ началъ.

Поэтому-то наше развитіе совершенно другое, чѣмъ европейское. Европейскіе народы шли путемъ *внѣшней* правды, русскій— путемъ *внутренней*. Говоря подробнѣе, видно, что дѣло обстоитъ слѣдующимъ образомъ:

«Нравственное дѣло,—пишетъ Аксаковъ,—должно и совершаться нравственнымъ путемъ, безъ помощи внѣшней, принудительной силы. Вполнѣ достойный путь одинъ для человѣка, путь свободнаго убѣжденія, путь мира, тотъ путь, который открылъ намъ Божественный Спаситель, и которымъ шли Его Апостолы. Это путь *внутренней правды*».

Существуетъ однако и «другой путь, гораздо повидимому болѣе удобный и простой; внутренній строй переносится во внѣ, и духовная свобода понимается только какъ *устройство*, *порядокъ*; основы, начала жизни понимаются какъ правила и предписанія. Все формулируется. Этотъ путь не внутренней, а *внѣшней правды*, не совѣсти, а принудительнаго закона».

Послѣднимъ путемъ, «путемъ внѣшней правды, путемъ государства двинулось западное человѣчество». Такой путь гибеленъ. «Формула, какая-бы то ни была, не можетъ обнять жизни; потомъ налагаясь извнѣ и являясь принудительною, она утрачиваетъ самую главную силу, силу внутренняго убѣжденія и свободнаго

я признанія; потомъ далѣе, давая такимъ образомъ человѣку возможность опираться на законъ, вооруженный принудительной силой, она усыпляетъ склонный къ лѣни духъ человѣческій, легко и безъ труда успокоивая его исполненіемъ наложенныхъ формальныхъ требованій и избавляя отъ необходимости внутренней нравственной дѣятельности и внутренняго нравственнаго возрожденія».

Русскій-же народъ пошелъ путемъ *внутренней* правды. «Подъ вліяніемъ вѣры въ нравственный подвигъ, возведенный на степень исторической задачи цѣлаго общества, «создался «мирный и кроткій характеръ древне-русскаго народа», благодаря которому онъ, не желая государствовать, *добровольно* призвалъ государственную власть извнѣ. Добровольность призванія государства имѣетъ въ глазахъ Конст. Сергѣевича особенную цѣну, потому что оно рѣзко оттѣняетъ процессъ нарожденія государства въ Россіи отъ процесса его нарожденія на Западѣ, гдѣ онъ совершился путемъ завоеванія. Вслѣдствіе добровольности призванія въ Россіи земля и государство, хотя «и не смѣшались, а отдѣльно стояли», все-таки находились «въ союзѣ другъ съ другомъ. Въ призваніи добровольномъ означились уже отношенія земли и государства—взаимная довѣренность съ обѣихъ сторонъ. Не брань, не вражда, какъ это было у другихъ народовъ вслѣдствіе завоеванія, а миръ—вслѣдствіе добровольнаго призванія».

Этотъ-то миръ между властью и народомъ, эта-то живая нравственная связь между государствомъ и землею были, по К. Аксакову, нарушены реформою Петра. До той поры все шло, какъ слѣдуетъ: правительство не вмѣшивалось въ народную жизнь и ничѣмъ не стѣсняло ея свободу, а народъ не вмѣшивался въ дѣла управленія... При Петрѣ Великомъ правительство измѣнило русскому идеалу, уклонилось съ русскаго пути, отнявши у народа свободу жизни и мнѣній, подчинивши его бюрократической регламентаціи и т. д. Теперь правительство должно внять голосу вновь возникшаго (въ славянофильствѣ) русскаго самосознанія и возстановить нарушенное имъ истинное отношеніе между государствомъ и землею; оно должно возвратить народу полноту его жизненной свободы, оставляя себѣ полноту власти и политическихъ правъ. «Въ противномъ случаѣ слѣдуетъ, по мнѣнію Аксакова, ожидать, что народъ, испорченный послѣ-петровскою исторіею и соблазненный дурнымъ примѣромъ государства, въ свою очередь измѣнитъ истинному-русскому пути съ своей

стороны, нарушитъ идеалъ русскаго строя, станетъ добиваться политическихъ правъ, вступитъ на западно-европейскій путь».

Чтобы избѣгнуть этого, К. Аксаковъ даетъ свой знаменитый совѣтъ «назадъ», въ до-петровскую Русь, которая представлялась ему чѣмъ-то вродѣ Аркадіи, гдѣ мудрые пасли стада смиренномудрыхъ вѣрноподданныхъ. Мы нисколько не преувеличиваемъ дѣла. Излагая древнерусскую исторію, Аксаковъ говоритъ между прочимъ:

«Явился великій князь и потомъ царь московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе земли и государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность—были основою ихъ отношеній. Подобно тому, какъ князь созывалъ вѣче, царь созывалъ земскую думу или земскій соборъ. Народъ не требовалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣнія. Государь не опасался спрашивать мнѣнія народа. Кто читалъ эти думы, тотъ знаетъ, какъ просто излагалось въ нихъ дѣло. Спрашивали обыкновенно выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль наша такова, а тамъ, какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы. Здѣсь не ораторствовали, а говорили, и слово не превышало дѣла».

Или:

«Русь не понимала рабства,—намѣчалъ въ общихъ чертахъ Константинъ Сергѣевичъ свою главную мысль,—къ тому-же въ ней нѣтъ ни либерализма, ни рабства. Свободная страна, Западъ началъ съ рабства, прошелъ сквозь бунтъ и хвастаетъ холопской дерзостью либерализма...

«Западъ имѣетъ опытность грѣха; онъ ужъ узналъ всѣ мерзости и установилъ свои отношенія. Кому-же, какъ не лисѣ, всѣ лисьи норки знать? Русь не имѣла этой опытности и поневолѣ попала въ рабство.

«*Большая разница между грѣхомъ и порокомъ. Въ древней Руси есть грѣхи, но нѣтъ пороковъ*». Вотъ бы гдѣ побывать!!

* * *

Читатель навѣрное спроситъ, съ какой это стати такъ долго удерживали его вниманіе на ученіи, которое, созданное кабинетнымъ иллюзіонеромъ и мечтателемъ, давнымъ-давно отжило свой вѣкъ.

Но, во-первыхъ, чѣмъ богаты—тѣмъ и рады. Славянофильство—во всякомъ случаѣ единственная оригинальная система русской философской мысли, во-вторыхъ, — сила ея совсѣмъ не въ аргументахъ, вообще слабыхъ и слишкомъ произвольныхъ.

Аргументы эти едва-ли могутъ убѣдить кого нибудь въ настоящее время, но они какъ нельзя болѣе характерны для пониманія духа создавшей ихъ эпохи и того класса общества, къ которому принадлежали ихъ защитники.

Какъ видитъ всякій, въ системѣ Аксакова все сводится къ тиворѣчію между понятіями «моральность» и «легальность». а сила свѣтлая, другая—темная. Одно начало западно-европское, другое—наше, русское, историческое и въ то же время іональное. «Моральность» опирается на любовь, на довѣріе, бще на внутренняго человѣка, па божественную искру, заложную въ каждомъ изъ насъ; легальность—на сводъ законовъ, ьи и уставы, словомъ,—на внѣшнюю силу и на права, пріобрѣныя насиліемъ. Никто и теперь не можетъ сомнѣваться въ томъ, моральность выше легальности, что жить «по Божьи» куда ше, чѣмъ по уставу или по принужденію; но развѣ исторія ираетъ когда нибудь между лучшимъ или худшимъ въ нравенномъ смыслѣ этихъ словъ? Она идетъ своей дорогой и эта ога удобства или, вѣрнѣе, соотношенія общественныхъ силъ. всегда давала и даетъ перевѣсъ сильному надъ слабымъ и, жде чѣмъ наградить человѣка правами, говоритъ ему: сначала обрѣти ихъ, а потомъ съумѣй защищать. Ничего сентименьнаго, сердечнаго нѣтъ въ прошлыхъ лѣтописяхъ земли, соаданіе и жалость доступны личностямъ, а не массамъ, любовь оводитъ отдѣльными поступками, но безсильна противъ хода ественной жизни. Эта послѣдняя знаетъ свою богасправедлить, но и справедливость является часто механической, и внѣш. Успѣхъ исторической борьбы обусловливается не *нравствен*мъ превосходствомъ одной изъ борющихся сторонъ надъ другой, превосходствомъ ея силы вообще, причемъ нравственная сила дитъ лишь какъ элементъ всей совокупности силъ—физическихъ, ственныхъ, матеріальныхъ. Вооружившись любовью, и добродѣью, нельзя выступать противъ скорострѣльныхъ ружей, и исто міждународныхъ отношеній Европы ежеминутно подтверждаь эту простую и элементарную истину.

Но она была совершенно недоступна К. Аксакову, какъ недоупна она теперь графу Толстому. Напротивъ, все толкало авянофильскаго пророка въ сторону ея отрицанія и полнаго енебреженія ею. Онъ органически не могъ не признавать преходства моральности надъ легальностью уже потому, что клюмъ для пониманія всѣхъ жизненныхъ явленій, основой, на котой онъ воздвигалъ всѣ свои идеалы, была *семья*, гармонически ожившаяся, живущая въ мирѣ, любви и спокойствіи,—такая е., среди которой онъ выросъ самъ.

Жизнь западно-европейскихъ народовъ представлялась ему хо-

лодной и мертвой. Онъ не могъ восторгаться культурой и цивилизаціей, потому что ясно и основательно видѣлъ, какъ культура и цивилизація обездушиваютъ человѣка, опустошаютъ его нравственный міръ и дѣлаютъ изъ него живого мертвеца, въ которомъ совершенно изсякло духовное, любовное начало. Онъ ненавидѣлъ отношенія между людьми, основанныя лишь на контрактѣ. Онъ хотѣлъ живой связи, живого общенія. Гдѣ-же найти ихъ? Семья, разумѣется, даетъ первый и лучшій примѣръ такого рода *жизни*. Отецъ—глава семьи, ея руководитель, ея царь, у него полнота правъ и власти, но эти права и эта власть охотно признаются всѣми чадами и домочадцами, потому что въ ихъ проявленіяхъ нѣтъ ничего принудительнаго, насильственнаго. Отецъ правитъ, но правитъ любовно, вліяя лишь авторитетомъ своей нравственной силы, и такимъ путемъ подчиненіе и свобода мирно уживаются другъ съ другомъ. Въ семьѣ нѣтъ начальства, а есть руководитель, нѣтъ насилія, а есть убѣжденія, нѣтъ рабства, а есть свобода личности, добровольно повинующейся.

То-же самое К. Аксаковъ мечталъ найти и въ старорусской исторіи. Онъ восторгался былинами и эпосомъ, даже московскими порядками, потому что прежняя Россія казалась ему такой похожей на любезную сердцу Аксаковку. Власть и народъ находились между собой въ живомъ общеніи; ничто не стояло между ними, никто не стремился воплотить въ статьи и формулы связующую ихъ любовь.

Угловатости славянофильской доктрины исчезли или замѣнились другими, но ея настроеніе, это настроеніе національной гордыни,—живо еще и понынѣ. Вѣдь недавно еще одинъ профессоръ, чуть не академикъ, торжественно заявилъ: «насъ не можетъ радовать похвала нѣмцевъ, но можетъ радовать ихъ порицаніе: значитъ, мы не похожи на нихъ». Но къ этой живучести славянофильства мы еще вернемся, пока же нѣсколько словъ о его положительной роли въ русской жизни, положительной къ тому-же совершенно случайно.

Нечего, я думаю, и пояснять, что между народническими идеалами К. Аксакова и идеалами управы благочинія не было ничего общаго. Онъ ошибался: обманывая себя, онъ обманывалъ другихъ,—это грѣхъ передъ исторіей, но онъ не гнулъ своей совѣсти, не напяливалъ не нее вицмундира; онъ защищалъ достоинство человѣческой личности и ея свободу, какъ могъ, какъ понималъ ихъ. Свобода слова—вотъ самый конкретный практическій пунктъ его уче-

і, и онъ потратилъ на него не меньше страсти, чѣмъ на защиту -петровской всероссійской добродѣтели. Позволю себѣ привести но стихотвореніе, сохранившееся въ его бумагахъ. Онъ пишетъ:

Ты—чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты—мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты—лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты—намъ человѣчества знамя...
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчно жизнію ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,
Свободное слово.

Лишь духу власть духа дана,—
Въ животной-же силѣ нѣтъ прока:
Для истины—гибель она,
Спасенье—для лжи и порока;
Враждуетъ-ли съ ложью—равно
Живитъ его жизнію новой...
Неправдѣ—опасно одно
Свободное слово!

Ограды властямъ никогда
Ни зижди на рабствѣ народа!
Гдѣ рабство—тамъ бунтъ и бѣда;
Защита отъ бунта—свобода.
Рабъ въ бунтѣ опаснѣй звѣрей,
На ножъ онъ мѣняетъ оковы...
Оружье свободныхъ людей
Свободное слово!

О слово, даръ Бога святой,
Кто слово, даръ божескій, свяжетъ,
Тотъ путь человѣку иной,—
Путь рабства преступный укажетъ,
На козни, на вредную рѣчь
Въ тебѣ жъ и цѣленье готово,
О, духа единственный мечъ
Свободное слово!

(С. А. Венгеровъ, т. I, стр. 227.)

Одно уже это стихотвореніе должно сдѣлать очевиднымъ для читателя тотъ фактъ, что К. Аксакавъ, несмотря на свою безусловную преданность устоямъ русской жизни, числился въ ряду оппозиціи и признавался краснымъ. Въ этомъ отношеніи онъ раздѣлялъ участь, общую всѣмъ главарямъ славянофильства. Въ нихъ находили слишкомъ много свободы и самостоятельности, было подозрительно уже то, что они рѣшались говорить и думать, когда все

вокругъ молчало. Когда въ 1852 г. они задумали издавать «Московской Сборникъ», долженствовавшій замѣнить всѣ прежніе неудачные журналы, благополучно проскочилъ черезъ цензуру лишь первый томъ, а второй томъ и не появился на свѣтъ Божій.

Любопытно поэтому привести документъ, изъ котораго видно, какъ относилась къ К. Аксакову цензура того времени. Въ запискѣ министра народнаго просвѣщенія С. Уварова, перепечатанной въ «Исторіи русской цензуры» А. М. Скабичевскаго, мы читаемъ между прочимъ:

«Въ статьѣ Аксакова о богатыряхъ—читаемъ мы—изображеніе характера и подвиги Добрыни Никитича, Ильи Муромца, Ставра, Рахдая и другихъ богатырей, а равно пиры и домашняя жизнь самого Владиміра не такъ, какъ повѣствуетъ исторія, а какъ описывается въ древнихъ русскихъ сказкахъ и пѣсняхъ».

«Подобно Хомякову, К. Аксаковъ старается отыскать въ сказкахъ и пѣсняхъ признаки того же небывалаго въ Россіи общиннаго порядка дѣлъ. Въ одной пѣснѣ сказано, что Владиміръ, дѣлая пиръ у себя, приказ алъ брать со всякаго званаго по 10 рублей, и К. Аксаковъ говоритъ: «Весьма замѣчательное указаніе: і такъ этотъ княжескій пиръ—складчина; пиры складчиною—явленіе совершенно русское и древнее; вспомнимъ *братчины* напри мѣръ, братчину Никольщину, гдѣ складочный пиръ и вмѣстѣ союзъ въ которомъ выбирается и пировой староста, это также чист *общинное явленіе*; это вольное видоизмѣненіе *самородной об щины*, ея отпрыскъ... Къ такимъ же *общиннымъ явленіям* возникшимъ изъ самой *коренной общины*, причисляемъ и *артель и даже* казацкое устройство». Этого мало, даже въ хоро водѣ сочинитель видитъ образъ *русской общины*.

«Изъ другихъ пѣсней К. Аксаковъ выводитъ, что богатыри сі дѣли у Владиміра не по аристократическому праву награды, и при бавляетъ, что «аристократическое понятіе, образовавшееся на Западѣ рыцарствомъ, не существовало въ древней Руси; на богатырской скамьѣ сидѣли и Ставръ, богатый бояринъ, и Алеша, сы попа, Иванъ, сынъ гостя (купца), и наконецъ Илья Муромец крестьянинъ: *всѣмъ имъ равный* почетъ». Отношенія богатыр къ великому князю *почтительны, но не подобострастн они вольно собирались вокругъ него*, зовутъ его краснымъ сол цемъ. солнцемъ Кіевскимъ, охотно служатъ ему службы, *но ни чемъ не выражается униженное или придворное ихъ отн шеніе къ великому князю*; битвы, подвиги, свадьбы и пиры

ставляютъ внѣшній строй этой жизни, въ которой слышатся *воля и приволье*».

«К. Аксаковъ указываетъ на мѣста въ пѣсняхъ, гдѣ *Соловей-разбойникъ* называетъ князя воромъ; богатырь *Тугаринъ-Змѣевичъ* цѣлуетъ великую княгиню въ уста сахарныя, а *Алеша Поповичъ* чуть не назвалъ ее сукою... Сверхъ того К. Аксаковъ обращаетъ вниманіе на пѣсню, въ которой описывается нашествіе на Кіевъ татарскаго царя Калины. Хотя это и непріятельскій царь, но все неприлично, что сочинитель выписываетъ изъ пѣсни слѣдующіе стихи:

Собака, проклятый ты, Калинъ царь!
Васъ то царей не бьютъ, не казнятъ,
Не бьютъ, не казнятъ и не вѣшаютъ!

«Пѣсни и сказки, на которыхъ К. Аксаковъ основалъ статью свою, большею частью напечатаны; всѣ читали ихъ, относя безцеремонные поступки богатырей къ простотѣ древнихъ нравовъ или вымыслу составителей сказокъ: одинъ К. Аксаковъ могъ вывести изъ нихъ—небывалыя въ Россіи—общину, вольницу и дерзаетъ богатырей ставить противъ великаго князя!...

«Константинъ Аксаковъ написалъ еще «Примѣчаніе къ статьѣ Шеннига: «Купало и Коляда». Въ этихъ примѣчаніяхъ онъ нѣсколько разъ опять упоминаетъ *объ общинной жизни* въ древней Руси, утверждая, будто бы *общинное начало неотъемлемо соединено съ существомъ славянина*. Онъ говоритъ также: лѣсъ, поле, рѣка принадлежатъ всѣмъ: такъ семья исчезаетъ». Мысль совершенно коммунистическая.

«Еще въ «Московскомъ Сборникѣ» находятся два стихотворенія К. Аксакова, ничтожныя по содержанію, но и въ нихъ есть непонятныя мысли и говорится о человѣкѣ, котораго *духъ свободенъ и открытъ*». Вообще-же К. Аксакову дана слѣдующая характеристика:

«Константинъ Аксаковъ, магистръ московскаго университета, живетъ въ Москвѣ, пропитанъ славянофильствомъ. Въ 1846 году онъ напечаталъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» статью: «Семистолѣтіе Москвы». Въ этой статьѣ, сверхъ неумѣстныхъ доказательствъ и преимуществъ Москвы, какъ столицы имперіи, передъ С.-Петербургомъ, высказывались вообще мысли, несообразныя съ монархическимъ правленіемъ. За эту статью и сочинителю, и цензору сдѣлано было строгое замѣчаніе. Этотъ молодой человѣкъ не безъ ума и образованъ, добросовѣстенъ и хорошей нравственности, но его, какъ фанатика, трудно убѣдить въ ложности его мнѣній».

Но онъ былъ подозрителенъ еще и по другой причинѣ. Какъ сказано выше, его идеалъ свободно укладывается въ формулу «патріархальность» и живая нравственная связь между государствомъ и землей. Припомните теперь характеристику николаевской эпохи, сдѣланную Любимовымъ, и вы сейчасъ поймете, что нельзя было не заставить замолчать московскаго милленарія. Съ точки зрѣнія К. Аксакова чиновничество и было тѣмъ средостѣніемъ, которое мѣшало установленію живой нравственной связи, тѣмъ узурпаторомъ, который отнялъ у народа свободу духа и замѣнилъ ее предписаніями.

К. Аксаковъ былъ наконецъ подозрителенъ просто потому, что отличался отъ другихъ своими рѣчами, взглядами и даже костюмомъ. Онъ носилъ мурмолку и бороду... а вѣдь чортъ его знаетъ, что значатъ мурмолка и борода. А нѣтъ ли тутъ измѣны? спрашивали Амосы Ѳедоровичи, и, разумѣется, измѣна нашлась. Въ 1853 г. вышелъ знаменитый указъ министра внутреннихъ дѣлъ, которымъ объявлялось несовмѣстнымъ съ дворянскимъ званіемъ ношеніе бороды.

VI. Иванъ Аксаковъ. — Немезида славянофильства.—Славянофильство, какъ классовая теорія.

«Внутреннее противорѣчіе между требованіями истиннаго патріотизма, желающаго, чтобы Россія была какъ можно лучше, и фальшивыми притязаніями націонализма, утверждающаго, что она и такъ всѣхъ лучше, — это противорѣчіе погубило славянофильство какъ ученіе, но оно же составляетъ несомнѣнное преимущество старыхъ славянофиловъ, какъ людей и дѣятелей, сравнительно съ ихъ позднѣйшими преемниками — псевдопатріотами. Они питались иллюзіями—это такъ, но, благодаря своему возвышенному нелицемѣрному настроенію,—въ важныя критическія минуты для русскаго общества, когда вопросы ставились на жизненную практическую почву, старые славянофилы бросали въ сторону мечты и претензіи народнаго самомнѣнія, думали только о дѣйствительныхъ нуждахъ и бѣдахъ Россіи, говорили и дѣйствовали какъ истинные патріоты.

«Во время осады Севастополя,—пишетъ Ю. Ѳ. Самаринъ,—въ самую пору мучительнаго для нашего самолюбія отрезвленія, когда очарованія одно за другимъ спадали съ нашихъ глазъ и передъ нами

выступали все беззобразіе, вся нищета нашей дѣйствительности, на одномъ вечерѣ, въ пріятельскомъ кругу, Хомяковъ былъ какъ-то особенно веселъ и безпеченъ и на неудомѣніе одного изъ друзей, какъ можетъ онъ смѣяться въ такое время, отвѣчалъ: «я плакалъ про себя тридцать лѣтъ, пока вокругъ меня все смѣялось. Поймите же, что мнѣ позволительно радоваться при видѣ всеобщихъ слезъ ко спасенію». Говорить о спасеніи Россіи, да еще посредствомъ самоосужденія, путемъ горькаго сознанія во всемъ безобразіи и во всей нищетѣ нашей дѣйствительности—не явная ли эта измѣна и отступничество? И дѣйствительно Хомяковъ и его единомышленники подверглись хотя и запоздалой, но все-таки внушительной анафемѣ отъ представителей «новѣйшаго зоологическаго патріотизма».

Еслибы «любовь» была не производной, а производящей силой, еслибы историческая дѣйствительность подчинялась мечтамъ человѣка, еслибы жизнь народа была свободой, а не необходимостью,—славянофильство, въ виду громадныхъ затраченныхъ на него нравственныхъ и умственныхъ силъ, могло бы быть плодотворнымъ. Но благородство, добродѣтель, искренность, сопровождаемыя иллюзіями, не котируются на биржѣ дѣйствительности. «У славянофиловъ, какъ и у насъ,—говоритъ одинъ ихъ теоретическій противникъ,—запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы—за пророчество, чувство безграничной, охватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны въ то время, какъ сердце билось одно».

Но дѣйствительность мститъ за невниманіе къ себѣ и мститъ подъ-часъ очень жестоко. Какъ и чѣмъ отомстила она славянофильству—увидимъ сейчасъ.

Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ умеръ съ небольшимъ 40-ка лѣтъ, успѣвши достаточно разочароваться въ жизни, но не въ своей теоріи. Онъ умеръ тѣмъ самымъ «большимъ ребенкомъ», про котораго отецъ его писалъ какъ-то: «кажется, остается желать, чтобы онъ на всю жизнь оставался въ своемъ пріятномъ заблужденіи, ибо прозрѣніе невозможно безъ тяжкихъ и горькихъ утратъ: такъ пусть его живетъ да вѣритъ Руси совершенству». Не то случилось съ братомъ его, Иваномъ Сергѣевичемъ Аксаковымъ.

*

Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, младшій сынъ Сергѣя Тимофеевича, родился 26 сент. 1823 г., въ селѣ Надеждинѣ, Белебеевскаго уѣзда, Уфимской губерніи. Деревенскія впечатлѣнія его еще слабѣе, чѣмъ у старшаго брата Константина, потому что всего 4-хъ лѣтъ отъ роду его перевезли въ Москву. Учился онъ однако не здѣсь, а въ Петербургѣ, въ «институтѣ» правовѣдѣнія, которое и закончилъ въ 1842 году. Идя по обычной дорогѣ, онъ поступилъ въ «страннопріимный» Сенатъ московскій, тогда еще существовавшій. Естественно, что у молодого, горячаго юноши, поклонника Шиллера и Гёте, еще въ ученическіе свои годы исходившаго лѣтомъ всю Германію и поклонявшагося разнымъ святынямъ поэзіи и философіи, нисколько не лежало сердце къ чиновничьей карьерѣ. Въ написанной имъ въ то время «Мистеріи въ трехъ періодахъ»,—«Жизнь чиновника»—герой перваго періода «будущій чиновникъ» задаетъ себѣ гамлетовскій вопросъ:

Служить иль не служить? да, вотъ вопросъ!
Какъ сильно онъ мою тревожитъ душу!
Не я-ль мечталъ для *общей пользы жить*?
Ужель теперь я свой обѣтъ нарушу?

Демонъ службы шепчетъ ему:

И начальство высшее, дорожа тобой,
Грудь украситъ лентою, осѣнитъ звѣздой...
Не ища фортуны милости случайной,
Будешь ты дѣйствительный, будешь ты и тайный...

Во второмъ періодѣ, когда герой «Мистеріи» поступилъ уже на службу, прежніе порывы и прежнія колебанія исчезли. Онъ мечтаетъ теперь лишь о крестѣ, который и получаетъ за свою угодливость и льстивость.

Въ третьемъ періодѣ герой «Мистеріи», ставшій генераломъ, подводитъ итоги своей жизни, и что же долженъ сказать онъ о себѣ передъ судомъ проснувшейся совѣсти?

Да, счастье пошлое судьба мнѣ даровала,
Занятья «дѣльныя» мой изсушили умъ,
И грудь чиновника ничто не волновало:
Лишь служба—вотъ предметъ моихъ привычныхъ думъ.

Съ грустью вспоминая прежнее, онъ говоритъ:

А памятны мнѣ прежніе тѣ годы.
Когда былъ молодъ я и на своемъ пути
Такъ смѣло выжидалъ житейскія невзгоды...
Но жизнь прожить—не поле перейти.
Душа тогда прекрасное любила,
Порывы доблести мнѣ волновали грудь.
Но жизнь бумажная въ ней свѣжесть погубила

И охватилъ меня избранный мною путь.
И грустно думать мнѣ, что тщетно я трудился,
Что даромъ отдалъ жизнь на жертву службѣ я,
Что труженикомъ здѣсь ничтожнымъ я явился,
Что не своей я шелъ дорогой бытія!
Что отъ моей усердной, долгой жизни,
Отъ моего служебнаго труда
Ни пользы никому, ни блага для отчизны,
Ни свѣтлой памяти, ни яснаго слѣда.

Легко понять, кѣмъ было навѣяно такое отрицательное отношеніе къ бюрократическимъ идеаламъ. Не говоря уже о «Горѣ отъ ума» и «Ревизорѣ», Иванъ Сергѣевичъ въ славянофильскомъ кружкѣ наслушался не мало самыхъ страстныхъ репликъ противъ чиновничества «этого средостѣнія», этой «гангрены русской жизни».

Послѣ недолгой, безполезной и томительной по своей безполезности службы въ московскомъ сенатѣ,—этомъ удивительномъ архивѣ государственныхъ старцевъ, Ивана Сергѣевича потянуло въ народъ. «И вотъ онъ уѣзжаетъ въ глушь, поступаетъ въ уголовную палату, сначала калужскую, потомъ астраханскую. Какъ совершенно вѣрно сказалъ кто-то послѣ смерти Аксакова, отъѣздъ въ провинцію изъ столицы, гдѣ, при огромныхъ связяхъ Сергѣя Тимофеевича и славянофильскаго кружка, онъ могъ бы сдѣлать самую блестящую карьеру, былъ своего рода хожденіемъ въ народъ». Честный, молодой, горячій, онъ попалъ въ ту обстановку, которая бросала мрачную тѣнь на всю русскую жизнь. Россія въ то время, по словамъ Хомякова, была «въ судахъ черна неправдой черной»... Тяжела, утомительна, не по силамъ одному человѣку была борьба съ этой черной неправдой.

«Знавшіе Ивана Сергѣевича въ эту пору его дѣятельности,—сообщаетъ одинъ изъ наиболѣе обстоятельныхъ некрологистовъ Аксакова,—знаютъ, какъ томилась и мучилась молодая еще тогда душа его въ эту суровую эпоху и какъ поборолъ онъ въ себѣ чувство личнаго отвращенія, чтобы несть эту тяжелую службу, зная, что несеніемъ этого креста ему удастся все-таки уменьшить хотя немного количество обильно расточаемыхъ плетей, пролагать хотя ничтожный просторъ правдѣ и справедливости. Извѣстная литературному міру Авдотья Петровна Елагина послала ему въ этотъ періодъ его отчужденія отъ Москвы мраморное распятіе, на которомъ ликъ облеченнаго терновымъ вѣнцомъ Спасителя представлялся ей особенно хорошо выражающимъ глубь нравственнаго страданія. Въ письмѣ, которымъ сопровождалась эта посылка, старая уже и тогда Авдотья Петровна писала, что,

взирая на этотъ ликъ представителя высшаго страданія, она всегда вспоминала о тѣхъ внутреннихъ мукахъ, о той нравственной пыткѣ, которую приходится переживать И. С. на добровольномъ поприщѣ его служенія».

Если Авдотья Петровна и хватила значительно черезъ край, то все же это нисколько не мѣшало судейскимъ впечатлѣніямъ Ивана Сергѣевича быть очень и очень тяжелыми. «Да возродится *наконецъ* правда и милость въ судахъ»,—сказалъ въ началѣ 90-хъ годовъ императоръ Александръ III, и какъ далеко отъ этого «наконецъ» было полвѣка тому назадъ. Ивану Сергѣевичу надо было или прать противъ рожна цѣлой клики уголовныхъ мародеровъ, или уйти совсѣмъ изъ палаты. Онъ выбралъ послѣднее и все въ тѣхъ же поискахъ живой работы поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Съ обычной своей энергіей исполнялъ онъ самыя тяжелыя порученія и, одинъ изъ немногихъ чиновниковъ того времени, умѣлъ даже быть гуманнымъ въ своихъ отношеніяхъ къ раскольникамъ. Между прочимъ ему пришлось столкнуться съ таинственной сектой «бѣгуновъ», о которой онъ написалъ обширное изслѣдованіе.

Въ 1852 г. Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ вышелъ въ отставку. Эпизодъ, сопровождавшій его удаленіе со службы, былъ бы, пожалуй, и смѣшонъ, еслибы не былъ такъ грустенъ. По словамъ С. А. Венгерова, онъ заключался въ слѣдующемъ: «За Аксаковымъ открылись разные изъяны. Такъ, ярославскій губернаторъ сообщилъ въ Петербургъ, что молодой чиновникъ читаетъ знакомымъ какую-то подозрительную рукопись. Потребовали объясненій у Ивана Сергѣевича. Онъ переслалъ рукопись, которая оказалась извѣстной его поэмой «Бродяга». Поэму прочли и не нашли въ ней ничего предосудительнаго. Но тѣмъ не менѣе молодому поэту были поставлены на видъ два обстоятельства. Во первыхъ, ему письменно предложили вопросъ: «почему онъ, Аксаковъ, *безпаспортнаго* человѣка выбралъ себѣ въ герои?», а затѣмъ, возвращая поэму, сдѣлали при этомъ конфиденціальное сообщеніе, что «занятіе стихотворствомъ не приличествуетъ человѣку, облеченному довѣріемъ правительства».

Аксаковъ въ отвѣтъ на это подалъ прошеніе объ отставкѣ, которую и получилъ съ чиномъ надворнаго совѣтника. Онъ рѣшился посвятить себя журналистикѣ и, вернувшись въ Москву, занялся редактированіемъ «Московскаго Сборника». 1-ый томъ этого изданія благополучно прошелъ цензурныя мытарства и по-

лся въ свѣтъ безъ всяческихъ ампутацій. Но какъ-бы въ
нку ему — этому благополучно проскользнувшему сборнику,
истръ народнаго просвѣщенія, князь Ширинскій-Шахматовъ,
атилъ вниманіе на «предосудительность направленія», находя,
«хотя народность и составляетъ одну изъ главныхъ основъ
него государственнаго быта, но развитіе понятія о ней не
жно быть одностороннее и безусловное: иначе безъотчетное
емленіе къ народности можетъ перейти въ крайность и вмѣсто
льзы принести существенный вредъ». Въ виду этого было
иказано ко II тому сборника отнестись возможно «внимательно». Разумѣется, онъ не появился совсѣмъ, а его молодой редакторъ оказался въ разрядѣ крайне подозрительныхъ. Ему не только было предписано, какъ и остальнымъ членамъ славянофильскаго кружка, представлять свои произведенія для цензуры непосредственно въ Главное Управленіе по дѣламъ печати, но кромѣ того его лишили права быть когда бы то ни было издателемъ или редакторомъ журнала. Мало того, когда Аксаковъ хотѣлъ было поѣхать на военномъ кораблѣ вокругъ свѣта, — его не пустили.

Будучи не у дѣлъ, Аксаковъ съ удовольствіемъ взялся за поручеціе Географическаго Общества описать малороссійскія ярмарки и, проработавъ полтора года, выпустилъ въ свѣтъ обширное изслѣдованіе о малороссійской торговлѣ вообще. Въ промежуткѣ между собираніемъ матеріаловъ и обработкой ихъ Аксаковъ въ тяжелые дни севастопольской кампаніи поступилъ въ ополченіе и былъ казначеемъ серпуховскаго отряда. Тутъ онъ «удивилъ весь оффиціальный міръ мужествомъ своей честности. Командующій московскимъ ополченіемъ—графъ Строгоновъ — даже не рѣшился подписать отчетъ, представленный изумительнымъ казначеемъ, ибо отчетъ этотъ былъ, въ силу великой экономіи, обвинительнымъ актомъ чуть ли не всѣхъ другихъ поголовно. Отчетъ такъ и остался не подписаннымъ, не смотря на всѣ настоянія Аксакова». «Ополченская служба Ивана Сергѣевича,—говоритъ Гиляровъ-Платоновъ,—сопровождалась полемикою литератора-ополченца съ командовавшимъ всею Московскою дружиною графомъ Строгоновымъ. Оригинальная полемика, философская и политическая, ведшаяся подъ видомъ оффиціальныхъ приказовъ и оффиціальныхъ рапортовъ, гдѣ Аксаковъ-ополченецъ былъ тотъ же непреклонный боецъ за меньшую братію, какъ Аксаковъ, редакторъ «Дня» и «Москвы». «Это Аксаковское влі-

яніе!»—воскликнулъ Строгоновъ, когда при роспускѣ ополченія, собравъ дружину, обратился къ рядамъ съ предложеніемъ, не хочетъ ли кто изъ ратниковъ перейти въ военную службу, и когда въ отвѣтъ на его слова: «кто хочетъ, ребята, пусть поднимет руку»,—послышался каламбуръ: «Кто же, Ваше Сіятельство, на себя руку поднимегъ?»...

Послѣ войны Аксаковъ, въ виду новыхъ вѣяній, возвратился къ извѣстному своему призванію—журналистикѣ. На самомъ дѣлѣ это былъ настоящій публицистъ, пламенный, искренній, безконечно увѣренный въ себѣ и своихъ убѣжденіяхъ. Съ молокомъ матери, съ атмосферой родительскаго дома, съ дружбой брата воспринялъ онъ славянофильскіе догматы. Вмѣстѣ съ Константиномъ Сергѣевичемъ онъ вѣрилъ и исповѣдывалъ: «что русскій народъ есть народъ не государственный, т. е. не стремящійся къ государственной власти, не желающій для себя государственныхъ правъ, не имѣющій въ себѣ даже зародыша народнаго властолюбія»,—и хотѣлъ лишь того, чтобы между властью и земщиной установились живыя нравственныя отношенія, уничтоженныя реформою Петра. Въ истинномъ смыслѣ слова онъ былъ plus royaliste que le roi, въ мистическомъ ореолѣ представлялось ему самодержавіе, онъ падалъ передъ нимъ ницъ съ религіознымъ уваженіемъ. Непонятное исключеніе. Но все равно, какъ не дозволялось доводить до крайности идею народности, такъ и идея самодержавія въ формѣ, приданной ей Иваномъ Сергѣевичемъ, оказалась неподходящей къ требованіямъ высшей политики. Въ 1859 г. Аксакову разрѣшили издавать газету «Парусъ» и запретили очевидно по недоразумѣнію на 2-мъ № *за статью Погодина.* Желая изгладить неблагопріятное впечатлѣніе, Аксакову намекнули, что онъ можетъ издавать еженедѣльный журналъ «Пароходъ», но съ тѣмъ условіемъ, чтобы идея самобытности развитія народностей, какъ славянскихъ, такъ и иноплеменныхъ, не имѣла мѣста въ газетѣ и все, что до сего предмета относится, было бы изъ нея исключено». Аксаковъ не согласился и занялся неоффиціальнымъ редактированіемъ «Русской Бесѣды». Въ 1861 г. онъ выхлопоталъ право издавать еженедѣльную газету «День», съ тѣмъ, чтобы въ ней не было политическаго отдѣла. «День» выходилъ благополучно вплоть до 1865 г. Въ 1867 году Аксаковъ затѣялъ ежедневную «Москву»,—газету, которая за 22 мѣсяца своего существованія получила девять предостереженій и слѣдовательно три раза была пріоста-

новлена—въ общей сложности втеченіи 13-ти мѣсяцевъ. За «Москвой» послѣдовала «Русь».

Какъ публицистъ, Ив. Аксаковъ составилъ себѣ крупное имя. Особеннымъ успѣхомъ пользовалась его газета «День», гдѣ проводились лучшія идеи стараго славянофильства. «Аксаковъ—издатель «Руси»—былъ попреимуществу глашатай русской самобытности и связанной съ нею національной исключительности,

И. С. Аксаковъ.

глашатай ожесточенной вражды ко всему тому, что дорого прегрессивной части русской интеллигенціи. Аксаковъ же—издатель «Дня», поддавшись общему теченію эпохи, рѣже направлялъ свой талантъ на безплодную и часто отрицательнаго значенія позировку съ оторванными отъ нивы прегрессистами, а предпочиталъ посвящать его положительнымъ задачамъ времени, восторженному комментированію реформъ, быстро слѣдовавшихъ одна за другою. Наиболѣе горячія симпатіи «Дня» принадлежали крестьянскому дѣлу. Ни одинъ изъ органовъ тогдашней печати не посвящалъ столько мѣста выясненію разныхъ деталей, которыя возникли при

практическомъ выполненіи крестьянской реформы. «День» славился своими обстоятельными корреспонденціями по крестьянскому дѣлу, въ которыхъ всегда отстаивались интересы мужика.

Почему-же Аксаковъ, въ принципѣ отрицавшій какія бы то ни было политическія преобразованія, — Аксаковъ, постепенно все болѣе и болѣе сближавшійся съ партіей застоя, не ладилъ и не могъ ладить съ цензурой? Виновата въ этомъ, думается, не столько сущность его идей, сколько форма, которую онъ придавалъ имъ,—форма, всегда рѣзкая, непримиримая, вызывающая? Онъ слишкомъ подчеркивалъ свое право, какъ земскаго вѣрноподданнаго человѣка, говорить все, что̀ ему кажется справедливымъ. Голосъ общественнаго мнѣнія—хотя бы одной только части его—находилъ себѣ въ немъ слишкомъ смѣлаго трибуна. Лучшимъ образчикомъ указанныхъ сторонъ его дѣятельности можетъ служить знаменитая рѣчь, произнесенная имъ въ 1878 г., какъ предсѣдателя Славянскаго благотворительнаго комитета и человѣка, наиболѣе волновавшагося по поводу войны за освобожденіе, — при первыхъ же слухахъ о результатахъ берлинскаго конгресса.

Это случилось, повторяю, въ 1878 году.

Въ это время, какъ извѣстно, происходилъ печальной памяти берлинскій конгрессъ. Мирный трактатъ еще не былъ ратификованъ, но уже содержаніе его было установлено почти окончательно и, какъ выражался Иванъ Сергѣевичъ, «корреспонденціи и телеграммы ежедневно, ежечасно, на всѣхъ языкахъ, во всѣ концы свѣта разносили изъ Берлина позорныя вѣсти о нашихъ уступкахъ». Не могъ перенести Иванъ Сергѣевичъ этого «надругательства» надъ Россіею; въ засѣданіи московскаго Славянскаго комитета отъ 22 іюня 1878 г., разразился самой пылкой изъ всѣхъ своихъ рѣчей, въ которой далъ полную волю своему патріотическому негодованію. «Мы собрались сегодня, — говорилъ онъ, — хоронить милліоны людей, цѣлыя страны, свободу болгаръ, независимость сербовъ, хоронить великое, святое дѣло, завѣты и преданія предковъ, наши собственные обѣты, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совѣсть». Развѣ «плѣненныя турецкія арміи подъ Плевной, Шипкой и на Кавказѣ, зимній переходъ русскихъ войскъ чрезъ Балканы и геройскіе подвиги нашихъ солдатъ, потрясшіе міръ изумленіемъ, торжественное шествіе ихъ вплоть до Царьграда, эти необычайныя побѣды, купленныя десятками тысячъ русскихъ жизней, эти несмѣтныя жертвы, принесенныя русскимъ народомъ, эти по-

рывы, это священнодѣйствіе народнаго духа, — развѣ все это сказки, миѳъ, порожденіе распаленной фантазіи, можетъ быть даже «измышленіе московскихъ фанатиковъ»? «Ты-ли это, Русь-побѣдительница, сама добровольно разжаловавшая себя въ побѣжденную? Ты-ли на скамьѣ подсудимыхъ, какъ преступница, каешься въ святыхъ, подъятыхъ тобою трудахъ, манишь простить твои побѣды?.. Едва сдерживая веселый смѣхъ, съ презрительной ироніей похваляя твою политическую мудрость, западныя державы, съ Германіей впереди, нагло срываютъ съ тебя побѣдный вѣнецъ, преподносятъ тебѣ взамѣнъ шутовскую съ гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не съ выраженіемъ чувствительнѣйшей признательности, подклоняешь подъ нее свою многострадальную голову!..» Но не хочетъ всему этому повѣрить ораторъ. «Ложь!» восклицаетъ онъ. «Если въ такомъ чудовищномъ образѣ и представляется Россія изъ берлинскихъ писемъ и телеграммъ, то самая чудовищность служитъ лучшей порукой, что этому не бывать».

«Что-бы ни происходило тамъ на конгрессѣ, какъ бы ни распиналась русская честь, но живъ и властенъ ея вѣнчанный оберегатель, онъ же и мститель! Если въ насъ при одномъ чтеніи газетъ кровь закипаетъ въ жилахъ, что же долженъ испытывать Царь Россіи, несущій за нее отвѣтственность предъ исторіей? Не онъ ли самъ назвалъ дѣло нашей войны «святымъ»? Не онъ ли, по возвращеніи изъ-за Дуная объявилъ торжественно привѣтствовавшимъ его депутатамъ, Москвы и другихъ русскихъ городовъ, что «святое дѣло будетъ доведено до конца? Страшные ужасы брани, и сердце Государя не можетъ легкомысленно призывать возобновленія смертей и кровопролитія для своихъ самоотверженныхъ подданныхъ, — но не уступками, въ ущербъ чести и совѣсти, могутъ быть предотвращены эти бѣдствія. Россія не желаетъ войны, но еще менѣе желаетъ позорнаго мира. Спросите любого русскаго изъ народа, не предпочтетъ ли онъ биться до истощенія крови и силъ.

«Долгъ вѣрноподданныхъ велитъ всѣмъ надѣяться и вѣрить, — долгъ-же вѣрноподданныхъ велитъ намъ не безмолвствовать въ эти дни беззаконія и неправды, воздвигающихъ средостѣніе между царемъ и землей, между царской мыслью и землей, между царской мыслью и народной думой.»

Эта рѣчь — прекрасный образчикъ краснорѣчія Аксакова. Вы какъ-бы видите передъ собой страстнаго и даже дерзкаго въ своей страст-

ности человѣка и слышите его взволнованный, убѣжде. лось. Онъ весь въ этой рѣчи съ своей безконечной вѣрой скій народъ, его непреоборимое могущество, чуткій ко всѣ дамъ національнаго достоинства, весь съ своими мечтам. славянскомъ царствѣ, которое должно явить человѣчест зецъ жизни, основанной на довѣріи и любви другъ къ дру менъ и народовъ. Освободительная война 77—78 гг. была никомъ его жизни. Казалось, что достигнуто уже все, и такъ долго и напрасно стремились предыдущія поколѣнія. позоръ Севастопольской войны, золотой крестъ засіялъ на Св. Софіи, полумѣсяцъ изгнанъ въ Азію и древняя Визант. стала изъ гроба, чтобы явиться міру въ еще невѣдомомъ вел И вдругъ берлинскій конгрессъ!.. Всю силу своего «патріотич негодованія», всю мощь своей рѣчи И. Аксаковъ направил тивъ дипломатіи, которая являлась въ его глазахъ одним видовъ бюрократическаго средостѣнія Разумѣется, это не пройти ему даромъ и, не смотря на весь поистинѣ грандіо авторитетъ, которымъ пользовался Аксаковъ,—онъ былъ вы изъ Москвы для успокоенія себя на деревенскомъ воздухѣ, и не надолго...

Въ 1880 году онъ принялся за послѣднее свое дѣло — и ніе «Руси». Оптимистическая гарь славянофильства особенно р выступала въ этомъ органѣ Аксакова. Охладѣлъ реформатор пылъ юности, поддержка устоевъ стала главнѣйшей зада Друзья Аксакова объясняютъ неуспѣхъ «Руси» слѣдующимъ об зомъ:

«Со второго-же года изданія «Руси» оказалось, что люд смотрящихъ строго и трезво на русскую дѣйствительность вмѣс съ Аксаковымъ, слишкомъ немного. Общество, не привыкшее простой и серьезной русской мысли и ждавшее отъ «Руси» э фектной борьбы съ существующимъ порядкомъ вещей, той страс ной и смѣлой борьбы, которая велась въ «Москвѣ» и «Москвичѣ разочаровалось. Аксаковъ, при всемъ невысокомъ мнѣніи о ста шемъ у дѣлъ консерватизмѣ, не объявилъ ему открытой войны» «Правильно это было или нѣтъ, пока не будемъ судить, но несо мнѣнно, что это обстоятельство было одной изъ причинъ, обуслов ливавшихъ неуспѣхъ «Руси» даже у людей, способныхъ выслу шать и прочувствовать сердцемъ русское слово».

«Русь» Аксакова оставила по себѣ не особенно лестную па- мять, хотя и не во всѣхъ кружкахъ общества. Но все-же не-

ный, убѣждено, чтобы газета гдѣ нибудь пользовалась особеннымъ вліяніемъ и уваженіемъ. На этотъ разъ несомнѣнно, что знаменитаго публициста совершенно покинулъ его тактъ, самая чуткость оставила, и онъ совсѣмъ не «во благовременіе» сталъ выдвигать на сцену съ особенной энергіей и даже не безъ озлобленности правую сторону славянофильства съ ея оптимистическою гарью. Какъ ни измѣнилась эпоха, сущность этой правой стороны все-же сводилась къ тому, что у насъ все благополучно. И въ доказательство этого всеобщаго царящаго на Руси благополучія Аксаковъ разражительно нападалъ даже на тѣхъ, кто указывалъ на ставшую очевидной недостаточность крестьянскихъ надѣловъ. «Это — ложь и клевета», — говорилъ онъ, полагая, что какая-нибудь фраза можетъ прикрыть цифры. Не того ждали отъ Аксакова, особенно послѣ славнаго періода 77-го и 78-го годовъ, когда даже его увлеченія, его крайность и гиперболы чувства такъ гармонически сливались съ общимъ горячимъ настроеніемъ. Въ немъ привыкли видѣть либерала, прогрессиста, хотя и на почвѣ самаго строгаго и даже правовѣрнаго націонализма. Никто еще не забылъ, да и некогда было забыть, какъ онъ своимъ пламеннымъ перомъ привѣтствовалъ реформы Александра II-го, какъ, смѣшивая свои личныя воспоминанія о черной неправдѣ, царящей въ судахъ, съ вожделѣніями каждаго мыслящаго и честнаго человѣка, и онъ видѣлъ въ новыхъ судахъ зарю новой, свѣтлой жизни. И вдругъ онъ, какъ бы поддаваясь старческой слабости, кашляетъ, брюзжитъ и ворчитъ, нападая на слабѣйшихъ, ломясь въ открытую дверь. Въ той области, гдѣ онъ теперь сталъ дѣйствовать, онъ могъ играть лишь второстепенную роль. Ему не сравняться было съ Катковымъ, и даже искренніе его почитатели съ неудовольствіемъ замѣчали порой, что многія и многія статьи «Руси» являются лишь безполезнымъ придаткомъ къ статьямъ «Московскихъ Вѣдомостей». Дойти до полной прямолинейности Аксаковъ не могъ, не смѣлъ, и вся его страсть, весь его талантъ тратился на вѣтеръ, попустому. Онъ переставалъ быть истиннымъ журналистомъ и только пребывалъ въ журнализмѣ... Съ ужасомъ и огорченіемъ сталъ онъ замѣчать, что надъ Русью начинаютъ просто подсмѣиваться (съ «Московскими Вѣдомостями» всегда *считались*); что статьи о русскомъ народѣ, его величіи, благополучіи не производятъ должнаго впечатлѣнія, ибо требовалось, чтобы подъ эти отвлеченные термины подставлились реальныя понятія, цифры, а у Аксакова — увы! — ихъ не было въ распоряженіи. Только подъ

конецъ жизни Аксаковъ, какъ бы прощаясь съ нею и вызва
къ тому исключительными обстоятельствами, собралъ свои
слѣднія силы и явился передъ публикой въ прежнемъ гроз
величіи...

Обстоятельства эти состояли въ слѣдующемъ.

«Въ одной изъ статей по болгарскому вопросу, появивш
въ концѣ 1885 года, Иванъ Сергѣевичъ, со свойстве
ему рѣзкостью, напалъ на нашу дипломатію. Онъ утвержд
что у заправилъ нашей иностранной политики нѣтъ ни ума
сердца, ни совѣсти, ни чести. Подобныя нападки нес
кратно уже появлялись на страницахъ «Руси», все равно
мысли, высказанныя Аксаковымъ въ рѣчи о берлинскомъ
грессѣ, тоже не были новостью для постоянныхъ его слушат
и читателей. Но, какъ и во время произнесенія этой рѣчи, п
тическій моментъ появленія вышеупомянутой статьи былъ зат
нительный и «Руси» было дано предостереженіе, мотивирова
тѣмъ, что газета *«обсуждаетъ текущія событія тономъ, совмѣстнымъ съ истиннымъ патріотизмомъ»*.

Исполняя точную букву закона, «Русь» напечатала предо
реженіе безъ всякихъ оговорокъ, но въ слѣдующемъ же № (
Иванъ Сергѣевичъ помѣстилъ совершенно неслыханную по с
рѣзкости отповѣдь на тему о томъ, что должно считаться «ис
нымъ» патріотизмомъ,—отповѣдь на этотъ разъ уже не по ад
дипломатовъ, а по адресу министерства внутреннихъ дѣлъ.

Статья, о которой только-что шла рѣчь, появилась въ д
брѣ 1885 г., а 27-го января 1886 г. Ивана Сергѣевича не
ло. Его сразила болѣзнь сердца.

VII. Заключеніе.

Читатель видитъ, на какой мысли построенъ предыду
очеркъ. Постоянно и ежеминутно приходилось мнѣ повторять
менитыя слова Антонія въ его надгробной рѣчи Бруту: «Но Бр
былъ доблестнымъ человѣкомъ». Доблестными, честными, д
чистыми въ лучшемъ смыслѣ этого слова были и первые слав
филы. Не знаю, какъ не подписаться подъ строками, принад
жащими человѣку другого лагеря, всю жизнь боровшагося съ с
вянофильствомъ и нанесшему ему самые жестокіе діалектиче
удары, – строками слѣдующаго содержанія:

«Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ сдѣлали свое дѣло; долго-ли, коротко-ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъ-егерской тройки, посланной Петромъ и въ которой сидѣлъ Биронъ и колотилъ ямщика, чтобы тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей, то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей. «Съ нихъ начинается переломъ русской мысли. И когда *мы* (западники) это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи. «Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была одна любовь, но не одинаковая. «У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы — за пророчество,—чувство безграничной, охватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны въ то время, какъ *сердце билось одно*. «Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому, что ея пѣснь была для насъ роднѣе водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнатѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ-за серебрянныхъ окладовъ... даже ея вѣчный плачъ объ утраченномъ счастьѣ раздиралъ наше сердце; мы знали, что у нея нѣтъ свѣтлыхъ воспоминаній, мы знали и другое, что ея сердце впереди, что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ, — это нашъ меньшой братъ, которому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство».

Къ этимъ теплымъ, прочувствованнымъ словамъ приходится прибавить очень мало. Еслибы нравственная чистота была всѣмъ и единственнымъ, что мы можемъ требовать отъ общественнаго дѣятеля,—такіе «подвижники», какъ Кирѣевскіе или Константинъ Аксаковъ, были бы людьми, достойными памятника въ сердцѣ каждаго русскаго человѣка. Еслибы искренность и правдивость освобождали писателя отъ промаховъ логики, отъ невѣрнаго толкованія дѣйствительныхъ потребностей жизни, статьи Кирѣевскаго, Аксакова, Хомякова могли бы явиться каноническими—для насъ по крайней мѣрѣ. Къ сожалѣнію между желаніями человѣка, на-

строеніемъ его сердца и ходомъ жизни—цѣлая пропасть. Неподатливый, суровый, почти не считающійся съ нашими вожделѣніями ходъ жизни одинаково ломаетъ нравственное или безнравственное, разъ оно не истинное, разъ оно хочетъ повернуть его въ ту сторону, по которой онъ не можетъ идти.

Положительная сторона стараго славянофильства вся безъ остатка исчерпывается его протестомъ противъ крѣпостного строя современной ему Россіи, противъ закабаленія личности, какіе-бы виды оно ни принимало. Во имя чего возникъ этотъ протестъ? Отчасти уже знакомые читателю историческіе взгляды К. Аксакова являются лучшимъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ.

Въ своемъ критическомъ разборѣ «Исторіи Россіи» Соловьева К. Аксаковъ указалъ, какъ недостаточно сводить исторію Россіи къ исторіи правительства въ Россіи, внѣшнимъ образомъ и насильственно преобразующаго косный народъ. Начало государственное—это лишь формальная сторона въ исторіи, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая. Воинскій станъ и канцелярскій приказъ, князь—собиратель дани, великій князь московскій, дающій перевѣсъ интересамъ государственнымъ надъ родовыми отношеніями, наконецъ императоръ, какъ просвѣтитель, преобразователь,—вотъ постоянная тема всѣхъ предыдущихъ историковъ, разрабатывая которую они едва имѣли досугъ бросить какой-то боковой взглядъ на стоящій въ глубинѣ сцены безмолвный, бездѣятельный, безвольный народъ; и невольно у читателя является вопросъ, зачѣмъ, для какой нужды, для выраженія какой мысли стоитъ этотъ народъ?

Начало *общинное* столь же постоянно и также повсюду проникаетъ русскую исторію, какъ родовое—западно-европейскую. Такова основная мысль К. Аксакова, высказанная имъ въ статьѣ «О древнемъ бытѣ славянъ вообще и у русскихъ въ особенности». Это общинное начало выразилось въ *вѣчевомъ* строѣ древней Руси; актомъ собравшагося въ Новгородѣ вѣча было самое призваніе князей, начало государственности: народъ не безмолвствуетъ, не стоитъ, не занимаетъ только мѣста на громадной территоріи восточной Европы, но дѣйствуетъ, мыслитъ, творитъ, какъ живая нравственная сила. И по призваніи князей вѣче сохраняется во всѣхъ городахъ, т. е. община продолжаетъ жить подъ всѣми тѣми внѣшними передвиженіями, которыя одни повидимому наполняютъ исторію, производятъ въ ней шумъ оружія, перипетіи княжескихъ отношеній. Позднѣе, съ объединеніемъ княжествъ подъ Москвою,

цинная жизнь городовъ сливается и находитъ для себя выра-
іе въ земскихъ соборахъ: это земля, призываемая на совѣтъ
бодно избраннымъ, поставленнымъ ею надъ собой государствомъ.
овый царь созываетъ первый земскій соборъ. Ему принадежитъ
лею неоспариваемое, но съ любовью утверждаемое право дѣя-
ьности, закона, силы; землѣ принадлежитъ царемъ неоспари-
мое, но бережно выслушиваемое право мнѣнія, сужденія по со-
сти, область духа. Высшее начало соборности, согласія, любви
ражается въ этихъ отношеніяхъ.

Легко понять, какъ сущность этихъ мыслей не мирилась съ
ѣпостническимъ строемъ Николаевской Руси, какъ она возставала
отивъ него во всеоружіи своего ореола, своего пониманія про-
шаго, своей любви. Но только сущность. Форма, облекающая ее,
лека отъ исторической истины, ибо возможно ли напр. умѣстить
арствованіе Грознаго въ такія строки: «Государь поступаетъ,
акъ ему Богъ указываетъ, земля не поперечитъ его дѣламъ, она
рисоединяетъ къ нимъ лишь свою думу, свободно выраженную,
торой послѣдовать или не послѣдовать свободенъ царь»? Раз-
мѣется, нельзя; однако свободолюбивое настроеніе Аксакова, за-
тавившее его вскрыть старо-русскую исторію до вѣча, нисколько
е теряетъ своей цѣнности.

Почему же славянофильство не оправдало надеждъ своихъ сто-
онниковъ, почему оно начало разлагаться почти на ихъ глазахъ?
На эти вопросы можетъ быть только одинъ отвѣтъ: славянофиль-
кая доктрина была не болѣе, какъ утопіей. Какъ утопія, она
подверглась обвиненію со стороны жизни и выслушала свой обви-
нительный приговоръ. На восхваленіе прошлаго историческая
наука отвѣчала: «это невѣрно»; на призывъ назадъ, домой, ходъ
жизни сказалъ: «это невозможно». Сами дѣятели славянофильства
были поставлены въ такія условія, что, не будь у нихъ иллюзій,
они должны бы давнымъ-давно признать себя побѣжденными. Они
были благороднѣйшими представителями стараго родовитаго дво-
рянства; выйдя изъ его среды, они всѣмъ сердцемъ прониклись
его идеаломъ—патріархальнымъ строемъ жизни, они распростра-
нили этотъ идеалъ на всю совокупность общественныхъ отноше-
ній; страстные, фанатически убѣжденные, почерпавшіе свой ар-
гументъ изъ воспоминаній дѣтства, изъ преданій цѣлаго поко-
лѣнія семей,—они не хотѣли знать, что идеалъ, строй жизни —
историческая категорія, что патріархальность отношеній не мы-
слима во второй половинѣ XIX-го вѣка.

Любопытный примѣръ въ этомъ отношеніи представляетъ из себя жизнь Ивана Серг. Аксакова. Онъ—послѣдній изъ могикан стараго славянофильства,—человѣкъ съ громадными дарованіями — сильный публицистъ, словомъ,—богато одаренная натура въ любомъ смыслѣ этого слова—истратилъ свою жизнь на созданіе такихъ плановъ и поддержку такихъ цѣлей, которыя не могут теперь привлечь никого. Вѣра въ славянство, надежда, возлагаемая на него,—не оправдались. Даже насчетъ войны 1877—78 гг многіе когда-то самые горячіе ея сторонники и защитники принуждены спрашивать себя: «да изъ-за чего же мы воевали? да стоило ли отвлекаться отъ своихъ внутреннихъ дѣлъ, отъ всѣхъ насущныхъ заботъ, чтобы преслѣдовать романтическія задачи?» А вѣдь изъ-за этихъ романтическихъ задачъ Ив. Аксаковъ гремѣлъ на всю Россію, шумѣлъ и волновался, какъ только можетъ шумѣть и волноваться искренне убѣжденный человѣкъ. Берлинскій конгрессъ — вотъ жестоко-ироническій отвѣтъ жизни на панславистскія идеи Аксакова, но онъ не понялъ и не хотѣлъ понять этого.

Личная его жизнь одинаково претерпѣла то же самое жестоко-ироническое отношеніе вмѣшательства судьбы. Мы знаемъ, что защита общинныхъ укладовъ, артели, міра — была краеугольнымъ камнемъ его блестящей, общественной пропаганды. Община, артель, міръ — это три устоя, на которыхъ онъ строилъ будущее счастье русскаго народа. Онъ былъ ихъ истиннымъ палладиномъ и, закрывая глаза на факты (что, вообще говоря, должны были дѣлать всѣ славянофилы), не хотѣлъ знать и видѣть, что уже и въ его время община, міръ, артель начинали трещать и разлагаться. Но—спросимъ себя—что же содѣйствовало этому процессу разложенія и даже обусловливало его? Очевидно сила денегъ, сила капитала и капиталистическій духъ наживы, индивидуализма, имущественнаго неравенства, который съ каждымъ днемъ все болѣе широкой волной вторгался подъ сѣнь «вѣковыхъ устоевъ» и подмывалъ ихъ. Между тѣмъ личная жизнь Ив. Аксакова устроилась такимъ образомъ, что самъ онъ, какъ директоръ богатаго московскаго банка, былъ однимъ изъ первыхъ и самыхъ видныхъ піонеровъ капитализма въ Россіи!! Увеличивая операціи своего банка, разсѣевая по лицу родной земли денежную силу, строя дороги, развивая кредитъ, создавая могущественный финансово-промышленный планъ, онъ, этотъ утопистъ, невольно и незамѣтно для самого себя разрушилъ или содѣйствовалъ разрушенію той почвы,

безусловной устойчивости которой его идеалы только и могли ть какую-нибудь жизненную цѣнность!..

Такъ мститъ жизнь.

Ив. Аксаковъ былъ несомнѣнно такимъ же честнымъ и добтнымъ рыцаремъ своей идеи, какъ и его братъ, какъ и тѣ люди, ъ восторженныя рѣчи которыхъ прошло его дѣтство и юность. мъ характернѣе и поучительнѣе то обстоятельство, что онъ очуся во главѣ капиталистическаго предпріятія и былъ вынужденъ вой рукой разрушить то, что̀ создавалъ лѣвой...

Въ еще болѣе поучительномъ видѣ предстанетъ передъ нами деніе славянофильства, если мы прослѣдимъ хотя бы вкратцѣ оцессъ его вырожденія. Въ своей первоначальной, очевидно ишкомъ уже непрактичной, формѣ оно не могло долго оставаться; что же оно превратилось?

«Исторія славянофильства,—говоритъ Влад. Соловьевъ,—есть ашь постепенное обличеніе той внутренней двойственности непримиренныхъ и непримиримыхъ мотивовъ, которая съ самаго начала егла въ основу этого искусственнаго движенія. Кто-то изъ рускихъ писателей довольно хорошо выразилъ эту роковую для славянофиловъ двойственность, назвавъ ихъ археологическими либоралами. Прежде всего славянофилы хотѣли бороться противъ петровской реформы, противъ западно-европейскихъ началъ во имя древней, московской Руси. Но рядомъ съ этимъ реакціонно-археологическимъ мотивомъ столь же существенный интересъ имѣла для нихъ прогрессивно-либеральная борьба противъ дѣйствительныхъ золъ современной имъ Россіи,—той Россіи, которая, по словамъ Хомякова, была

Въ судахъ черна неправдой черной
И игомъ рабства клеймлена –

въ которой, по словамъ И. Аксакова,

Сплошного зла стоитъ твердыня
Царитъ безсмысленная ложь.

Мы видѣли, какъ рѣзко и рельефно отразилось это непримиренное и непримиримое противорѣчіе въ дѣятельности И. Аксакова, который положительно смущалъ своихъ читателей, являясь передъ ними то въ качествѣ гонимаго и даже выселяемаго изъ столицы, то—хориста Катковскаго хора. Но ему, какъ славянофилу ума и сердца, ничего другого не оставалось дѣлать.

«Въ доктринѣ славянофиловъ не было бы никакого противо

чія, еслибы все русское зло было у насъ произведеніемъ европейск образованности, еслибы оно не существовало въ Россіи до Петр и еслибы противъ него можно было бороться во имя какихъ-нибуд особыхъ «русскихъ началъ». Но на самомъ дѣлѣ все было как разъ наоборотъ. «Клеймо рабскаго ига» и «черная неправда су довъ» были прямымъ наслѣдіемъ старой московской Руси, остат комъ до-петровскаго времени, и бороться противъ этихъ самобыт по-русскихъ явленій славянофиламъ приходилось вмѣстѣ съ запад никами во имя чужихъ, европейскихъ идей. Они не могли не знать что современное имъ крѣпостное право было лишь смягченной (благодаря Петру Великому и его преемникамъ) формою старин наго холопства, и что до-петровскіе суды и приказы еще менѣ отличались неподкупностью, нежели бюрократическія учрежденія Николаевскихъ временъ. При всемъ желаніи сваливать на Европу всѣ наши грѣхи, славянофилы никакъ не могли однако видѣть въ безправномъ холопствѣ и въ шемякинахъ судахъ плоды евро пейничанья; они должны были, напротивъ, волей-неволей признать что постепенное смягченіе нашихъ туземныхъ язвъ происходило с временъ Петра Великаго подъ вліяніемъ европейскаго образованія; а въ такомъ случаѣ странно было бы искать окончательнаго исцѣ ленія въ анти-европейской реакціи, въ поворотѣ къ до-петровскимъ началамъ. Никакъ нельзя было отдѣлаться отъ того очевиднаго факта, что крѣпостники-помѣщики и взяточники-чиновники менѣе причастны были европейскому образованію, гораздо ближе по духу стояли къ старо-русской жизни, нежели ихъ противники и обличители, какъ западники, такъ и сами славянофилы, которые могли бороться противъ нашей общественной неправды *единственно только въ качествѣ европейцевъ*, ибо только въ общей сокровищницѣ европейскихъ идей могли они найти мотивы и оправданіе для этой борьбы».

Надо посмотрѣть теперь, какъ развивалось это противорѣчіе. Разумѣется, пока критики не трогали его, оно существовало совершенно мирно. Кирѣевскій, Хомяковъ, К. Аксаковъ какъ нельзя лучше умѣщали его въ своей груди и даже не подозрѣвали, до чего оно грозное. Но вотъ что случилось.

Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ, разъяснившій въ 1853 г. несовмѣстимость бороды съ дворянскимъ мундиромъ, былъ если и не самымъ основательнымъ, то во всякомъ случаѣ самымъ успѣшнымъ изо всѣхъ министерскихъ циркуляровъ. Онъ сразу и навсегда положилъ конецъ тому фазису славянофильства, въ ко-

мъ вопросъ о «русскомъ направленіи» сливался съ вопросомъ сскомъ платьѣ. Когда нѣсколько лѣтъ спустя всѣмъ русскимъ анным возвращено было право облекаться въ какую угодно, бы азіатскую, одежду, славянофильство этимъ правомъ уже воспользовалось, и слова Хомякова о необходимости «слиться» жизнью русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая акъ сказать, «обряднымъ единствомъ, какъ средствомъ достиія единства истиннаго и еще болѣе какъ видимымъ его образъ», — остались безъ всякаго послѣдствія.

Итакъ, славянофильство вдругъ оказалось гонимымъ, и притомъ двухъ сторонъ: правительствомъ за либерализмъ (мурмолка, рода и пр.), либералами—за «археологію». Доктрина, какъ соѣщавшая въ себѣ непримиримыя противорѣчія, никому не покаась по вкусу. Съ одной стороны говорилось: «разъ вы ненавите современный строй, то вы—преступники, хотя бы и терпимые де», съ другой: «разъ вы ненавидите современный строй, то дьте искренни. Ибо съ какой точки зрѣнія ненавидите вы его? ъ точки зрѣнія собственнаго достоинства? Личной свободы? Прерасно: все это—западно-европейскія начала. Итакъ, искренне и ткровенно примкните къ намъ».

Но сдѣлать это славянофилы не хотѣли и не могли. Самые преанные изъ нихъ, «иллюзіонеры», позволили развиться противорѣію до того, что, вродѣ Ив. Аксакова, проповѣдывали общину, артель пр., служа директорами въ банкѣ; другіе, понявъ существованіе противорѣчія, рѣшились отдѣлаться отъ него, превративъ «славянофильство» въ «*націонализмъ*».

Что такое націонализмъ? Это именно одна, *правая* сторона славянофильства.

Славянофилы всегда исходили изъ мысли, что русскій народъ особенный, т. е. такой, которому указаны другіе пути, чѣмъ народамъ западно-европейскимъ. У тѣхъ—индивидуализмъ и борьба личности съ личностью за счастье; у насъ—община; у тѣхъ политическая свобода—намъ этого не надо и т. д. Но русскій народъ не только особенный, онъ—*лучшій* народъ изо всѣхъ существующихъ. Онъ совокупляетъ въ себѣ всѣ блестящія качества, онъ переустроитъ жизнь по идеальному христіанскому образу. Эта часть славянофильской доктрины пришлась какъ нельзя болѣе къ дому, Кирѣевскій, Хомяковъ, Аксаковъ твердили, что прошлое наше безупречно, какъ чисто-русское, не загрязненное западно-европейскими началами, но современность полна грѣхами. Ихъ

преемникамъ, чтобы выбраться изъ рокового противорѣчія, оо валось объявить грѣхи добродѣтелью. Они такъ и сдѣлали.

«Законные наслѣдники славянофильства, — говоритъ Вл Соловьевъ *)—уже не находятъ нужнымъ подставлять небывал совершенства подъ дѣйствительные недостатки: въ самыхъ эти недостаткахъ они видятъ настоящее преимущество Россіи пере человѣчествокъ. Главный недостатокъ нашей духовной жизни это неосмысленность нашей вѣры, пристрастіе къ традиціонн буквѣ и равнодушіе къ религіозной *мысли*, склонность прин мать благочестіе за *всю* религію, а само благочестіе отождес влять съ обрядомъ. Этотъ несомнѣнный недостатокъ, и тепе бросающійся у насъ въ глаза, сообщилъ весьма печальный х рактеръ и единственному значительному религіозному движені въ русской исторіи — расколу старообрядчества. И вотъ оказы вается, что это ненормальное пристрастіе къ традиціонной обряд ности въ ущербъ другимъ, умственнымъ и нравственнымъ эле ментамъ религіи, — что эта болѣзнь русскаго духа есть настоя щее здоровье и великое преимущество нашего благочестія перед религіозностью западныхъ народовъ. Тѣ, если вѣрятъ, то и мыс лятъ о предметахъ своей вѣры и стараются познать ихъ как можно лучше;—мы вѣримъ безъ всякихъ разсужденій, предметов вѣры мы не считаемъ предметами мышленія и познанія, т. е. другими словами, мы вѣримъ сами не зная во что,—не очевидно ли наше преимущество? Иностранцы, разсуждая о религіи, пре даются вмѣстѣ съ тѣмъ и религіозной дѣятельности, организуютъ благотворительныя учрежденія у себя дома, просвѣтительныя миссіи среди дикихъ народовъ и т. п.; мы вообще воздерживаемся отъ этого суетнаго подвижничества, предаваясь главнымъ образомъ подвигамъ молитвеннымъ, утѣшаясь обиліемъ земныхъ поклоновъ, продолжительностью и благолѣпіемъ церковныхъ службъ. Не ясно ли наше превосходство: мы служимъ только Богу, а служеніе страждущему человѣчеству предоставляемъ ложнымъ религіямъ гнилого Запада».

Такъ же легко совершается превращеніе недостатковъ въ достоинства и въ области гражданской жизни. Главная наша немощь здѣсь состоитъ въ слабомъ развитіи личности, а чрезъ это и въ слабомъ развитіи общественности; ибо эти два элемента соотносительны между собою. И вотъ культъ, доходящій до апо-

*) „Національный вопросъ“ т. II, стр. 93 94.

ана Грознаго, возводитъ въ принципъ коренное бѣд-
шей жизни, указываетъ въ немъ наше главное пре-
о надъ западной цивилизаціей, погибающей будто бы
ринерскихъ идей законности и права. Эту ненависть къ
скому элементу въ народной жизни наши новѣйшіе патрі-
дѣляютъ со старыми славянофилами, съ тою впрочемъ
ю, что закону и праву противополагается какъ высшее
у однихъ — братская любовь, а у другихъ — кулакъ и
При всей неудовлетворительности этого послѣдняго прин-
въ немъ по крайней мѣрѣ нѣтъ никакой фальши, тогда
ратская любовь, выставляемая какъ дѣйствительное исто-
е начало общественной жизни у какого-бы то ни было на-
есть просто ложь».

кимъ образомъ роковое развитіе противорѣчій необходимо
ю къ превращенію славянофильства въ націонализмъ,—т.-е.
оготвореніе существующаго, въ идеализицію самихъ себя.
о не можетъ быть опаснѣе этого для народной жизни. Са-
льство и самохвальство—первые враги всякаго развитія,
го движенія впередъ. Особность русскаго народа, его яко-
ригинальность является постояннымъ тормазомъ необходи-
развитія дѣйствительныхъ началъ его жизни. Бросить сла-
фильскія фразы—давно пора. Надо же понять наконецъ, что
ъ путь развитія и путь Западной Европы—тотъ-же самый.

ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЕТСЯ НОВОЕ ИЗДАНІЕ

Ф. ПАВЛЕНКОВА:

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей Е. СОЛОВЬЕВА (при шестомъ томѣ).

СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ:

1-й томъ. Первые литературные опыты. — Несоразмѣрны претензіи. — Народныя книжки. — Идеализмъ Платона. — Физіологическіе эскизы Молешота. — Процессъ жизни. — Схоластика XIX вѣка. — Стоячая вода. — Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. — Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. — Библіографическія замѣтки. — Меттернихъ.

2-й томъ. Аполлоній Тіанскій. — Московскіе мыслители. — Русскій Донъ-Кихотъ. — Вольные русскіе переводчики. — Генрихъ Гейне. — Пчелы. — Физіологическія картины. — Базаровъ. — Очерки изъ исторіи печати во Франціи. — Зарожденіе культуры.

3-й томъ. Наша университетская наука. — Историческіе эскизы. — Цвѣты невиннаго юмора. — Мотивы русской драмы. — Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній. — Историческое развитіе европейской мысли.

4-й томъ. Реалисты. — Кукольная трагедія. — Промахи незрѣлой мысли. — Романъ кисейной дѣвушки. — Сердитое безсиліе. — Прогулка по садамъ россійской словесности. — Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. — Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ. — Педагогическіе софизмы. — Разрушеніе эстетики. — Школа и жизнь.

5-й томъ. Пушкинъ и Бѣлинскій. — Подвиги европейскихъ авторитетовъ. — Посмотримъ! — Подростающая гуманность. — Историческія идеи Огюста Конта. — Погибшіе и погибающіе. — Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. — Взгляды англійскихъ мыслителей на умственныя потребности современнаго общества. — Льюисъ и Гексли.

6-й томъ. Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ. — Образованная толпа. — Борьба за жизнь. — Романы Андре Лео. — Старое барство. — Французскій крестьянинъ 1789 г.

Цѣна каждаго тома 1 руб. Пересылка за 7 фун. по разстоянію.

DK 37.8 .A3 .S6 C.1
Aksakovy,
Stanford University Libraries
3 6105 038 468 398

Stanford University
Stanford, Califo

Return this book on or befo